

КРАСНАЯ НОВЬ

ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
КРИТИКИ И ПУБЛИЦИСТИКИ

О Р Г А Н
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Год издания двадцатый

ИЮЛЬ — АВГУСТ

№ 7—8



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1940

Антоша Чехонте

ЧАСТЬ ВТОРАЯ¹

А. Роскин

Глава первая

«Скорблю, что столица не потешила Вас, что и в оной растут дикие растения лишений и скорбей.

Ну, не унывайте — дети подрастут — да то и извыки столичные приобретут — да сохранит их господь от заразы, с теми, которые читают: небесную механику, Пугачева и прочие мрачные книги».

О. Василий Бандаков в письме к родителям Чехова.

1

Семья жила в подвале на Драчевке. Спали все на полу, потому что кроватей не было. Квартира, видимо, давно пустовала, сильно отсырела, и когда теперь топили печи, комнаты заволжало паром, как в прачечной.

Павел Егорыч все не мог найти себе службу, хождения его по торговым конторам и церквам были напрасны.

— Вот какое испытание шлет бог на избранных своих, — говорил он.

Павла Егорыча очень возмущало, что Митрофан Егорыч в такое трудное время ничем не приходит на помощь, и, бранясь, называл его почему-то «книжником».

Заплатить за квартиру было нечем. Евгения Яковлевна хотела заработать что-нибудь шитьем, но швейная машина осталась в Таганроге и принадлежала теперь уже господину Костенко. Мать все ждала, что придет хозяин и

скажет то, что всегда говорят хозяева, когда им не платят денег:

— Ищите себе другую фатеру.

Во всех несчастиях Павел Егорыч винил теперь Евгению Яковлевну: будь он в Таганроге, никогда бы не допустил до захвата дома.

Вспоминая о Селиванове и Костенко, он кричал на Евгению Яковлевну, от крика ему становилось нехорошо, он пошатывался, и тогда Евгения Яковлевна должна была бережно поддерживать Павла Егорыча, чтобы он не упал.

Если это случалось при посторонних, Евгения Яковлевна, растерянно улыбаясь, объясняла:

— Он ведь у меня тяжелый.

2

Евгения Яковлевна не расставалась с мыслью получить обратно дом и вернуться эсей семьей на родное место. Ведь и Гавриил Парфентийч дал Евгению Яковлевне обещание отдать дом, если у Павла Егорыча снова будут деньги.

Она думала, что достаточно встретить какого-нибудь богатого человека и рассказать ему всю историю с домом, как этот человек поймет, что Гавриил Парфентийч поступил нехорошо и что Чеховы никак не могут жить в Москве на Драчевке. А поняв это, вынет из бумажника деньги и предложит их Евгению Яковлевне.

В Москву приехал шуйский купец

¹ См. «Красная новь» № 12, 1938 г.

Закорюкин, дальний родственник Евгении Яковлевны.

Он навестил Чеховых в их подвале и, увидев нищету семьи, подарил Евгении Яковлевне десять рублей, а потом, подумав, прибавил еще двадцать пять рублей.

Евгения Яковлевна решила, что Закорюкин и есть тот богатый и хороший человек, который вернет Чеховым их дом в Таганроге. Но Закорюкин, выслушав Евгению Яковлевну, денег не дал.

— Лучше вы, Евгения Яковлевна, приезжайте к нам в Шую, — сказал он.

Оставалось только одно — молитва. Евгения Яковлевна просила бога, чтобы он вразумил Гавриила Парфентича сделать обещанное доброе дело и вернуть дом.

Еще в ту пору, когда Антоша жил в Таганроге, Евгения Яковлевна написала ему, чтобы он еще раз поговорил с Гавриилом Парфентичем и сказал бы ему так:

«Наш век очень короток, а если он сделает доброе дело для нас то долго проживет а если нет то и году непроживет, я это дело споручила св. Иоанну Богослову»¹.

Едва ли Антон выполнил тогда это поручение матери.

Теперь, гайком от Антона, Евгения Яковлевна писала в Таганрог Гавриилу Парфентичу, прося его прислать хоть немного денег, — ведь дом достался ему по такой дешевке!

— Позволяю Вас покорнейше просить по поводу Вашего дома оставить меня в покое, — ответил ей Гавриил Парфентич.

3

Павел Егорыч обладал способностью умиляться совершенно неожиданным и как будто вполне безразличным для человеческого сердца вещам.

¹ Приводимые в извлечениях письма и дневники П. Е. Чехова, Е. Я. Чеховой, Ал. П. Чехова, Г. М. Чехова, М. М. Чехова, Г. П. Селиванова, А. Бродского, Н. А. Лейкина, В. В. Билибина, И. Л. Щеглова, К. С. Баранцевича и др. за немногими исключениями публикуются впервые.

Автор.

Он умилялся тому, что брат его, переплетчик Михаил Егорыч, живет в Калуге, а не в каком-нибудь другом городе, и утверждал, что именно в Калуге «все можно видеть и слышать хорошее». Умилялся тому, что таганрогский купец первой гильдии Перушкин в царские дни украшал фасад своего дома разноцветными фонариками...

Эти дни, впрочем, Павел Егорыч в самом деле очень любил. Хор его пел в монастыре, архимандрит приглашал Павла Егорыча в свою келью и угощал хорошими закусками. Вечером, кроме дома Перушкина, был ярко освещен и Казенный сад, и коммерческий клуб. Хорошо в такой вечер погулять, послушать духовой оркестр и потом, немного устав, возвращаться домой, любуясь на Таганрог, иллюминированный светлой луной. Как часто светит луна в табельные дни!..

Очень часто умилялся Павел Егорыч статьям в газете.

Он делал, сам не зная зачем, длинные выписки из этих статей.

Своим ровным, закругленным почерком он писал:

«Из последнего отчета обер-прокурора святейшего синода видно, что всех монастырей в России 725. Из этого числа мужских монастырей 497 (в том числе 60 архиерейских домов), 4 лавры, 7 ставропигиальных, 51 первоклассных, 69 монастырей второго класса и 114 третьего; заштатных монастырей 191...»

Иногда он принимался писать что-нибудь из головы, стараясь при этом для красоты приписать своему писанию вид балансов и таблиц.

Павел Егорыч составил подробный список родственников. В одной графе он отмечал имя, отчество и фамилию, в другой — местожительство, в третьей — численность семьи, в четвертой — занятие: «торгует», «солдат», «земледелец».

Список получился длинный.

Если бы все эти родственники жили не бог знает где, не в далеких калужских, воронежских и даже закавказских местах, а здесь, в Таганроге, и разный бакалейный товар покупали бы у Павла Егорыча!

Впрочем, те, что торгуют, держали бы в Таганроге собственные лавки, а от солдат и земледельцев вряд ли можно ожидать большой прибыли. Только и было бы дела, что принимать их у себя с самоваром. Пусть уж сидят по своим уездам...

Торговые занятия, или, как выражался Павел Егорыч, «коммерционные дела», отчасти потому его и привлекали, что легко укладывались в письменные документы.

В деловой переписке Павел Егорыч ценил прежде всего строго соблюдаемую и возвышенную форму.

Когда ему надо было запросить харьковского оптовика, почем чай нового размена, он длинно описывал тот самый город Харьков, в котором имеет счастье жить этот оптовик, касался религиозных святынь других губерний, рассуждал о силе и могуществе русского царя и лишь затем справлялся о чае.

Не относящиеся к делу фразы нравились Павлу Егорычу сами по себе своей сложностью, неясностью и, следовательно, полной благопристойностью, но особенно потому, что придавали несомненную значительность его собственной личности.

Он так привык пользоваться чужими и мертвыми словами, что не мог себе представить, как вообще возможно, берясь за перо, обходиться без них.

Как-то раз Митрофан Егорыч отправился из Таганрога в далекое путешествие по разным русским городам. Поездка брата была для Павла Егорыча только удобным случаем закупить хорошего лавочного товара, обойдя таганрогских оптовиков. Но и в этом случае Павел Егорыч не мог обойтись без чужих и возвышенных слов:

«Вы в Москве. Имеем честь и удовольствие поздравить вас с приездом в Царствующий град Москву и желаем исполнения делов ваших производить счастливо с пользою и успехом, и достигнуть до Резиденции наших Государей знаменитого Петербурга».

Весть о том, что Митрофан Егорыч приехал в Петербург, побудила Павла

Егорыча составить письмо, такое торжественное, как будто оно предназначалось для чтения с амвона:

«Вы теперь в Санкт Петербурге! О как славно это имя Петербург! Позвольте мне поздравить вас с приездом в С. Петербург. Это Столица и местопребывание Помазанника Божия Русского Царя, который обладает неизмеримо землею и бесчисленными миллионами людей, взирает на половинную часть света, и управляет им. О Петербург! Петербург! с каким восторгом смотрят на Тебя все верноподанные твои! О как ты страшен врагам и с каким трепетным удивлением обращают взоры на тебя все иноземные народы. От тебя проистекают все источники Царского милосердия и разливаются по всему пространству неизмеримой земли русской»¹.

А вслед за этими чужими словами, как будто заимствованными из церковных проповедей и письмовников, следовали короткие приписочки, — и в них заключалось уже нечто живое и потому невольно для Павла Егорыча выходявшее из нравившейся ему формы:

«Покорнейше прошу, Братец, поспешайте покупкею выгодную соблазну экономию. Это очень приятно! Да что бы и товар был посвежее и цвета яркие...»

«Меня на ярмарке бог покупателем обрадовал...»

«Уведомьте почем сахар настоящая цена...»

«Это цены умственные...»

«Покупайте товар посмелее и торжественнее...»

«Товарцы московские хороши...»

«Необходимо следует познакомиться с магазином...»

Во всех письмах Павла Егорыча сквозило страшно серьезное отношение к своему делу.

И все же дело у Павла Егорыча шло не очень хорошо, порядка в рас-

¹ Может быть, в этом пристрастия Павла Егорыча к казенному красноречию — один из источников рано пробудившегося в Чехове отвращения ко всякой напыщенности в языке. Чехов удивительно глубоко угадывал в этой напыщенности раба чверты.

ходах не было, каждый день встречались новые, потому что детей прибавлялось, их надо было кормить, одевать и учить.

Людей, которым везло, Павел Егорыч не любил глухо и тяжело, до физического раздражения, похожего на душевную чесотку, — но не любил совсем не из одной зависти.

Когда Павел Егорыч приступил к составлению летописи своей жизни и ему захотелось отметить важнейшие события своего детства, он припомнил только следующее:

«1830. Помню, что мать моя пришла из Киева, и я ее увидал.

«1831. Помню сильную холеру, давали деготь пить.

«1832. Учился грамоте в с. школе, преподавали по А. Б. по-граждански.

«1833. Помню неурожай хлеба, голод, ели лебеду и дубовую кору».

Холера, неурожай, голод, вкус дегтя, лебеды и дубовой коры, обучение у дядька да еще хождения взрослых пешком по бесконечным российским дорогам, — вероятно, в лавру поклониться святыням ходила мать Ефросинья Емельяновна, — вот и все, что сохранилось в сердце Павла Егорыча от детской поры.

Многим обязан был Павел Егорыч трудолюбию и настойчивости своего отца. Ведь благодари ему через много лет Павел Егорыч мог в свою летопись внести такую строку:

«1841. Отец откупил все семейство на волю за 3500 руб. ас. по 700 р. за душу».

Но многим обязан был Павел Егорыч и самому себе. Он обучался сахароваренному делу, служил у богатого арендатора Гириша и у богатого купца Кобылина, гонял хозяйских быков в Москву для продажи¹ и вел торговые книги, прошел школу мальчика-приказчика и старшего молодца, работал и копил...

Трудной была жизнь Павла Егоры-

ча, и эта трудность составляла самый главный предмет его душевной гордости. С годами Павел Егорыч как-то незаметно для себя пришел к твердо-му убеждению, что жизнь и должна быть непременно трудной, и всякую легкость в своем существовании он понимал как нечто странное и беспоконное, а легкость в чужом существовании — как прямое для себя оскорбление.

Обманные цены оптовиков, дорогие извозы по осенней грязи, протухшие колбасы и разбитые зеркала, постоянные заботы, убытки и нужда — все это казалось Павлу Егорычу самым важным, составляющим главный смысл человеческой жизни, — и этот смысл требовал почти религиозного отношения к себе.

Павлу Егорычу хотелось идти в гору, не расставаясь ни с одной из своих забот.

Он рано превратился в человека неопределенного, скучного возраста.

Когда брат Михаил Егорыч, калужский переплетчик, прислал свою фотографию, Павел Егорыч подумал о том, что брат старше, кажется, лет на шесть или на восемь, и его переплетное занятие, пожалуй, труднее торгового, а выглядит он моложе, на портрете седины незаметно.

«Делаюсь волосами сребровидный», — написал Павел Егорыч в Калугу.

Теперь, в Москве, Павел Егорыч поседел еще сильнее.

4

Наконец, Павел Егорыч поступил на службу в амбар Гаврилова, торговавшего в Теплых рядах галантерейным товаром.

О жизни служащих у Гаврилова Антоша уже хорошо знал от своего двоюродного брата Михайлы, сына калужского переплетчика.

Антон и раньше всегда сохранял все получаемые им письма — из безотчетного чувства уважения к человеческой личности, к которому примешивалось слегка педантическое пристрастие к порядку. (Отцовский педантизм? Да, но педантизм человека, готового улыб-

¹ Вероятно, Павел Егорыч рассказывал детям о своем путешествии с быками через степи в Москву, и, может быть, здесь, в этом отцовском рассказе — самый дальний исток чеховской «Холодной крови».

путься этой своей черте.) Теперь к этому уважению к человеку и пристрастии к порядку присоединилось смутное стремление накапливать писательский архив.

В этом архиве хранилось следующее письмо Михайлы:

«Любезный Братуха
Антонша!

Я приведу в кратце тебе мою или нашу коммерческую жизнь. Утром встаю в 7-м часов и в половине 8-го отправляюсь к занятиям и при занятии то невозможно и нет время пить и есть и все это исполняется что называется по собачьи. Привожу тебе примеры как факты ко мне приходят Дядюшка (твой Папа) или Саша¹ и нераз приходилось им уходить не повидаясь, или повидаясь но ни слова ни переговора так и уйдут с занятий возвращаешься в 10 часов вечера придешь домой усталый после 15-ти часов работы, так что и ужинать часто бывает лень и такая жизнь продолжается у нас весь великий пост и такая жизнь называется коммерческая или каторга...

Сейчас твой Папа у меня и мы с ним пьем чай толкуем о нашей каторжной жизни».

Это письмо датировано 1877 годом. В 1895 году появились «Три года», в которых Чехов писал:

«Он (Алексей Лаптев) никак не мог забыть, как лет пятнадцать назад один приказчик, заблудивший психически, выбежал на улицу в одном нижнем белье, босой и, грозя на хозяйские окна кулаком, кричал, что его замучили; и над беднягой смеялись, когда он потом выздоровел, долго смеялись и припоминали ему, как он кричал на хозяев: «плантаторы!» — вместо «эсплюататоры». Вообще служащим жилось у Лаптевых очень плохо, и об этом давно уже говорили все ряды».

Перебравшись в Замоскворечье жить в компании с гавриловскими приказчиками, Павел Егорыч появлялся теперь дома только по воскресеньям.

Когда Евгения Яковлевна подавала к обеду бульон и он оказывался пе-

ресолненным или же рис в нем слишком твердым, Антон каждый раз болялся, что Павел Егорыч, по старой таганрогской привычке, сорвет с себя салфетку, которую завязывал сзади на шею толстым узлом, и выбежит в другую комнату, слишком рассерженный, чтобы браниться...

После обеда Павел Егорыч вынимал аккуратно сложенный вчетверо листок с надписью сверху: «Цена одна коп. сер. Слава тебе господи».

Это было печатное поучение. Павел Егорыч по дороге на Трубу покупал его в своей церкви, у старосты.

Павел Егорыч принимался читать вслух поучение по неистребимой привычке, так часто встречающейся у деспотических людей.

— Тише вы, хе-христи! — кричал он на сыновей, замечая, что слушают они плохо.

Павел Егорыч старался придать своему голосу как можно более сухое и властное выражение, но где-то в глубине души чувствовал, что окрики эти здесь, в Москве, уже ни к чему. И он, не закончив чтения, вешал зачем-то листок на стену.

5

Тетка Федосья Яковлевна гостила в Москве у Чеховых.

Ей почему-то казалось, что дом, в котором живут Чеховы, должен непременно сгореть. Спать она ложилась на всякий случай в калошах.

По вечерам собиралось все «братство», как презрительно говорил Александр.

Павел Егорыч приходил из Теплых рядов с калужскими родственниками, Григорием и Михайлой, гавриловскими приказчиками, которых на Драчевке принято было называть Чеховыми.

Выпив, Чеховы танцевали кадрили, падая перед дамами на колени и прикладывая руку к сердцу, потом канканировали, потом, еще раз выпив, громкими голосами пели песни.

Павел Егорыч, тоже немного выпив, требовал, чтобы пели не «Лучинушку», а «Достойно есть», и начинал дирижировать.

От смеси пива с водкой гостям ста-

¹ Александр Чехов, брат Антона.

новилось пехорошо. Тогда они выбегали на кухню, где на печке спал вместе со щенком Мишка.

Больше всех радовался этим вечерам Николай. Он аккомпанировал на разбитом пианино танцующим Чоховым, очень смешно произносил какие-то итальянские фразы.

— Адью Леонора, — говорил он, прощаясь с гавриловскими приказчиками.

После таких вечеров Александр, пивший, впрочем, больше других и тоже выбегавший на кухню, возмущался «пьянствующей гавриловщиной», а Николай жалел о том, что у него нет денег пойти вместе с Чоховыми в Салон де Варьете на Большой Дмитровке.

Николай был очень доволен, когда в Москву приехал шуйский родственник, Иван Иванович Лядов, с каким-то купчиком, которого Антон называл просто Мухтаром.

Ивану Ивановичу и Мухтару очень нравилось, чтобы братья Чеховы, не калужские, что служат приказчиками, а таганрогские, обучающиеся в университетах, водили их в Салон де Варьете и в какие-нибудь еще более веселые и еще более секретные московские места. С Иваном Ивановичем и Мухтаром братья уходили надолго. Начинали с Большой Дмитровки, а кончали совсем близко от Драчевки, где-то в соседних переулках, куда извозчики ездили, запрашивая двойную цену.

Возвращался Антон домой не разинкшим и смущенным, как Николай, а каким-то неприятно суховатым.

Придя в себя, Николай вяло брался за работу: он писал большую картину, изображающую таганрогский Карантин в Азовское море.

После вечеров с Чоховыми и господами из Шуй Антону тоже почему-то хотелось сесть за рассказ о Таганроге.

Кадрили, грошовой выпивка, пение, Иван Иванович с Мухтаром — все это было давнее, знакомое, таганрогское, чоховское... в Салон в конце концов — тоже нечто чоховское: запах предбанника, напудренные лица и голодные глаза, нелепый казав, тупые, пьяные лица.

О Салоне на Большой Дмитровке Антоша написал фельетон для «Зрителя».

«— Сволочи! Чего руками махаешь? Вдарь! Да ты вдарь!

— Господа! — слышится из толпы женский голос. — Можно ли так браниться при дамах?

— И дам к свиньям! Чорта лысого мне в твоих дамах! Тыщу таких кормлю!..»

«Фрейлейн Луиза сидит за столом. Она высока, толста, потна и неповоротлива, как улитка... Контуры короета грубо вырисовываются на ее большущей спине».

«Мужчина! — умоляет девочка с острым подбородком и кроличьими глазами, — угостите ужином!

Мужчина ломается...

— Есть хочу! Одну только порцию...

— Пристала... Челаэк!»

В этом фельетоне Чехов описал своих спутников под их собственными именами.

«— Рррюмку водки! Послушайте! Водки!

— Царапнем, Коля? Пей, Мухтар! Человек со стриженной головой туно пожмает плечами и с остервенением глотает водку.

— Не могу, Иван Иванович! У меня порок сердца!

— Плюнь! Ничего твоему пороку не поделается, ежели выпьешь!

Юноша с пороком сердца выпивает.

— Еще рюмку!

— Нет... У меня порок сердца. Я и так уже семь выпил.

— Плюнь!

Юноша выпивает...»

Интересно было думать о том, найдется ли среди тысяч читателей хотя бы один, который догадается, о каком именно Иване Ивановиче, Мухтаре и Коле идет речь в фельетоне Антоши Чехонте?

Через восемь лет Чехов написал рассказ, где привел в веселое заведение студента Васильева, человека гаршиной складки.

В спутники Васильеву Чехов дал «ученика Московского училища живописи, ваяния и зодчества» Рыбникова, в котопом нетрудно узнать знакомые черты Николая с его «адью Леонора» и кадрилью:

«— Бона сэра, сеньеры, риголетто, гугеноты-гравината! — начал художник, театрално раскланиваясь».

«...Художник оттого, что выпил два стакана портеру, как-то вдруг опьянел и неестественно оживился.

— Пойдемте в другой! — командовал он, размахивая руками. — Я вас поведу в самый лучший!

Приведя приятелей в тот дом, который, по его мнению, был самым лучшим, он изъяснялся настойчивое желание танцевать кадрили».

Не одной только общностью места действия и персонажей связан фельетон «Салон де Варьете» и рассказ «Припадок».

Возможно, что Давыдов нашел фельетон Антоши Чехонте очень смешным. На самом же деле в фельетоне уже угадывалась та холодная тоска, которая так глубоко поражает читателя в «Припадке».

Глава вторая

1

Если кто-нибудь стал бы доказывать Чехову, что, сочиняя мелочишки для юмористических журналов, он занимается делом, имеющим весьма отдаленное отношение к литературе, — вероятно, Чехов очень бы удивился, потому что самому ему и в голову не приходило рассматривать сочинение сценки, острот и подписей к рисункам как занятие литературой.

Антоша Чехонте — газетчик, пишущий по смешной части. Одни газетчики избирают своей специальностью суд, другие театр, третьи скачки, четвертые биржу.

Он избрал своей специальностью юмор, — вот и все.

К этой специальности Чехов пришел естественным, домашним путем, через лекцию о сотворении мира, «Занку», карикатуры Николая и фельетоны Агафонова Единицына.

К своему литературному имени Антоша Чехонте относился с поразительной небрежностью.

Маленький петербургский литератор Бродский попросил Чехова помочь пристроить его фельетоны в московских изданиях.

Видимо, для того, чтобы успешнее продвигать эти фельетоны, Чехов выдавал их в московских редакциях за свои. Вещи печатались, и нуждающийся товарищ Чехова по юмористическому ремеслу получал гонорар, в котором столь нуждался.

«В «Московском листке» от 3-го числа текущего месяца, — писал Бродский Чехову, — напечатан мой рассказ за Вашей подписью «Самое обыкновенное». Нужно получить гонорар, который Вас буду очень просить переслать моему брату...»¹

2

В одном из писем к Чехову редактор «Будильника» просил:

«Дайте мелочишки для «Будильника» на даче и вообще мелочи... Необходимо: календарь, передовая, корреспонденция в прозе, телеграммы...»

И, получив такое письмо, Чехов сочинил и календарь, и корреспонденцию, и телеграммы...

Чеховские сметки — подписи к рисункам, анекдоты, мелочи — именно потому, что они сочинялись с обязательной целью вызвать смех читателя, ничем не были лучше тех мелочей, что сочиняли другие сотрудники юмористических журналов.

Среди профессиональных юмористов, постоянных поставщиков смешного, Антоша Чехонте выделялся скорее оттенком порядочности, чем превосходством таланта.

Из-за этой порядочности Антоше Чехонте иногда нехватало журналистской гибкости.

Издеваться над пьяными купцами или бездарными актерами, называя полностью их имена, иногда представлялось Чехову не таким уж веселым

¹ Этот факт биография Чехова до сих пор был неизвестен. Публикуемое нами письмо датировано декабрем 1882 года. В начале 1883 года Бродский вновь писал Чехову: «Отчего Вы мне не сообщили, дорогой Антон Павлович, относительно моего фельетона в «Московском листке». А между тем, мне мне очень важно знать, так как здесь работы по сию пору ни-ни. Сообщите, пожалуйста, мне об этом, причем упомяните и о том, согласались ли Вы еще раз отдать от своего имени мой рассказ в «Московский листок». Деньги мне нужны. Я тогда напишу и вышлю его на Ваше имя».

занятием. Он понимал, что пьяные купцы и бездарные актеры заслуживают того, чтобы их осмеивали в печати; но он понимал и другое — что эти купцы и актеры являются для пишущих по смешной части не явлением жизни, а только темой, дозволенной начальством. И Чехову иногда казалось, что прохватывать кого-нибудь ради того, чтобы даром не пропадала тема, — не столь уж достойное занятие. От этого занятия пахло мелочной торговлей и легким бесстыдством.

Он не раз писал по прямому заказу редакторов, — и когда писал, думал не только о заказе редактора, но и о придирках цензуры и требованиях читателей.

И все же в нем жила та сила внутреннего сопротивления, которая свойственна истинным талантам.

В угоду редакторам, цензуре и читателям Антоша Чехонте чаще сокращал, чем вставлял.

Едва начав печататься, Чехов научился презирать тех, для кого работали пишущие по смешной части.

Вскоре после «Письма к ученому соседу» Чехов напечатал рассказ «Перед свадьбой».

Жениха, коллежского регистратора господина Назарьева, Чехов описал с едкой иронией:

«Господин Назарьев — мужчина роста среднего, лицо имеет белое, ничего не выражающее, волосы курчавые, затылок плоский. Где-то служит, жалование получает тщедашное, едва на табак хватающее; вечно пахнет яичным мылом и карболкой, считает себя страшным волокитой, говорит громко, день и ночь удивляется; когда говорит — брызжет. Франтит, на родителей смотрит свысока и ни одну барышню не пропустит, чтобы не сказать ей: «Как вы павильны! Вы бы читали литературу!» Любит больше всего на свете свой почерк, журнал «Развлечение» и сапоги со скрипом, а наиболее всего самого себя и в особенности в ту минуту, когда сидит в обществе девиц, пьет чай внакладку и с остервенением отрицает чертей».

Но «Развлечение» был журнал, в котором сотрудничал сам Чехов. Издеваясь над коллежским регистрато-

ром Назарьевым, Чехов издевался над собственным читателем.

Подчиняясь, Чехов не льстил, а презирал.

Это чувство презрения, не всегда ясно высказанное, но все же ощущаемое даже в самых первых чеховских рассказах, охраняло в Антоше Чехонте дар художника.

3

Литератором Чехов чувствовал себя не тогда, когда писал свои юмористические мелочи, а тогда, когда писал свою драму.

Ему было двадцать лет. Он знал уже уездное существование, свободу степеней, богатую горем и равнодушием столицу, ему запомнились лица и речь множества людей — лавочников, учителей, актеров, пастухов, чиновной мелкоты. Успев постигнуть, что такое семейный деспотизм, глухие слезы матери, разорение, нищета, одиночество, он немало угадал душой и чужого, самому незнакомого.

Мечта о большой и нужной жизни овладевала им все сильнее, и эта мечта, внушая безразличность к тому, что приближает и грязнит жизнь, в то же время заставляла мириться с подвалами Трубы, запахом прачечной, тоскливым сумраком комнат, ибо чем строже относиться к жизни, тем, в конце концов, меньше причин копить на нее обиду.

Когда Чехов думал о своем юмористическом ремесле, он видел перед собой журнальные полосы и очень близкие друг к другу, легко скрепляющиеся фамилии, восклицания, слова; когда он думал о литературе, он видел перед собой совсем не относящиеся друг к другу вещи — беседку, плашкоут, пассажирский вагон с обрызганными дождем окнами, ограду кладбища, трактир для извозчиков, зеленый абажур лампы на дачной террасе. Эти не относящиеся друг к другу вещи никак не превращались в рассказы, они были только воспоминаниями, слишком обширными и рассеянными, слишком не отделимыми от души, чтобы ложиться на бумагу.

И все же, когда Чехов писал свою драму, воспоминания неизвестно зачем

волновали его, мешая придумывать монологи, выходы и уходы, эффектные реплики, замечания в сторону. Но и отбрасывать от себя это душевное, мнимающее, не хотелось, потому что Чехов испытывал теперь нечто совершенно новое, очень похожее на забытьё. Чехов не замечал ни хода дешевых стенных часов, ни голоса тетушки Федосии Яковлевны за перегородкой, ни ночной усталости...

В драме Чехова герои бились в истерике, бросались под поезд, убивали других героев и самих себя. Список действующих лиц был длинный: иначе в последнем акте сцена оказалась бы пустоватой.

Главным действующим лицом был сельский учитель Платонов. Он за глаза и в лицо обличал всех окружающих, произносил монологи об отцах и детях, плакал, влюблялся, влюблял в себя, хватался за голову и в конце четвертого акта падал, смертельно раненный в грудь.

В пьесе были молодая вдова-генеральша, ее соседи-помещики, богатый еврей кабатчик Венгерович, молодой лекарь, конокрад Осип. Все действующие лица говорили изречениями и афоризмами. Конокрад Осип тоже говорил изречениями и афоризмами.

Придумывались эти изречения и афоризмы легко. Гораздо труднее было объяснить приходы и уходы со сцены.

Первое действие происходило в летний полдень. Действующие лица по очереди входили в гостиную и говорили о жаре.

Чехов хотел, чтобы, увидев Венгеровича, зрители сразу поняли, что он еврей. Поэтому Венгерович, появляясь на сцене, говорил о жаре так:

«Жарко! Эта жара напоминает мне, жида, Палестину. Там, говорят, очень жарко!»

Чехов отнес рукопись в Малый театр. Дрaму не приняли, может быть ее нашли несценичной. Этот недостаток казался трудно исправимым, ибо и так уже в драме было одно убийство, два покушения на убийство и одно покушение на самоубийство, не говоря уже о нескольких смертях за сценой.

4

«Редакция одного московского журнала перед праздниками разослала во все концы вселенной объявления о подпiske и половини этих объявлений получила обратно «за смертью адресата». Скорее, мол, умру, чем стану выписывать!..»

Чехов, «Осколки московской жизни».

К рождеству Чехов написал святочный рассказ «Сон» — историю о том, как в канун рождества оценщик ссудной кассы ночью rozdal нищим все заложенные вещи, — rozdal, ибо ему казалось, что все это происходит во сне...

Свой рассказ Чехов украсил необходимыми эффектами — жалобным воем ветра в печи, темнотой, бледными тенями нищих...

«Отпусти нас! — выл ветер вместе с вещами. — Ради праздника отпусти! Ведь ты сам бедняк, понимаешь! Сам испытал голод и холод! Отпусти!»

Эффекты Чехов заимствовал из других святочных рассказов.

Но было за «Сне» нечто, связанное с биографией Чехова: описание самой ссудной кассы.

«Это была большая квадратная комната, заваленная узлами, сундуками, этажерками... На серых деревянных стенах, из щелей которых глядела растрепанная пакля, висели заячья шубки, поддевки, ружья, картины, бра, гитара...

Вещи, хвостящиеся в кладовых ссудных касс, страшны...

На деньги, вырученные за эту гитару, куплены порошки от чахоточного кашля...

Браслет, глядящий на меня из витрины, заложен человеком, укравшим его... Две кружевные сорочки, помещенные 178 №, заложены девушкой, которой нужен был рубль для входа в «Salon», где она собиралась заработать...»

Ломбард, оценщики, кладовые, куда сваливают заложенные вещи, — все это было слишком хорошо знакомо Чехову.

В 1882 году Чехов написал три повести и много рассказов, — и все же не мог побороть нужду.

Сохранился счет, посланный Чехову редакцией «Стрекозы».

Счет помечен январем 1881 года.

Редакция сообщила, что за шесть рассказов («Мой юбилей», «Тысяча и одна страсть», «Комары и мухи», «Заблочки», «Перед свадьбой», «По-американски»), составляющих 645 строк, Чехову причитаются... 32 рубля 25 копеек. 32 рубля — за шесть рассказов!

Хождения в ломбард сделались чем-то совершенно обычным. И, стоя в очереди к оценщику, Чехов придумывал сюжеты...

Чехов слегка удивился, прочтя в одном альманахе предисловие к рассказу под названием «Помощь Капитолийской Венеры». В этом предисловии автор рассказа, какой-то американец Марк Туэн, назывался «знаменитым юмористом».

Как прекрасны страны, где даже юмористы могут стать знаменитыми!

Что же касается юмористических писателей на Руси, то здесь им, видимо, отказано в праве на простое человеческое уважение.

Глава третья

1

Поэт Пальмин познакомил Чехова с Лейкиным.

Знакомство произошло на Арбате.

Зашли в ближайшую портерную.

Имя Лейкина значило для Чехова многое. Всего несколько лет прошло с тех пор, как Чехов сидел в таганрогской читальне и громко смеялся над лейкиными рассказами.

Тогда, в Таганроге, пробуя писать по-лейкински, он ощущал между собой и Лейкиным пропасть: рассказы Лейкина набирались в типографиях и печатались в журналах и газетах, за них платили деньги, они читались множеством людей, в то время как рассказы Чехова оставались только гимназическими рукописями.

Перешагнуть через эту пропасть Чехову казалось невозможным.

Теперь Чехов сидел с Лейкиным в портерной и смотрел, как у Лейкина двигается борода, усы, даже уши, когда он, посапывая и краснея от удовольствия, прожевывает копченую колбасу.

— Спрашивать надо всегда углиц-

кую колбасу, — добродушно объяснял Лейкин. — Дешевле и вкуснее... Платить я вам буду... Ну, да, впрочем, не обсчитаю... Плюньте только на все эти «Будильники» и «Развлечения»...

И Лейкин привился доказывать, почему Чехов не должен больше писать для других журналов. Доказывая, он очень подробно называл какие-то цифры, через каждую фразу просил разрешения «говорить по совести» и открыть «действительное положение вещей», называл «Осколки» журналом с названием и программой.

Хитрость, скрывающая в разговоре Лейкина, была совсем иного рода, чем дикарская хитрость Пастухова. В лейкинской хитрости было что-то чрезвычайно наивное, она казалась скорее забавной, чем оскорбляющей. Лейкин напоминал торгового человека, который хочет вести дело порядочно, однако и не в убыток себе. На цензuru Лейкин жаловался тем тоном, каким жалуются купцы на санитарную инспекцию.

Он любил свой журнал, очевидно, очень хозяйской и очень наивной любовью. С большой гордостью Лейкин сообщил Чехову, что за напечатанные в виде приложения к «Осколкам» ноты с полькой он заплатил капельмейстеру «Русского купеческого общества для взаимного вспоможения» тридцать рублей.

Чехов не совсем понял, в чем именно заключается «действительное положение вещей».

Под звуки машины, игравшей «Боккаччио», Чехов представил себе будущее, свободное от унизительной нужды. Вполне возможно, что он, студент-медик Антон Чехов, сидящий сейчас в портерной на Арбате с известным писателем Лейкиным, этим летом повезет семью на дачу.

2

Понравившийся рассказ Лейкин называл «шикарной штучкой».

Если же рукопись для «Осколков» не подходила, Лейкин говорил:

— Это не под кадриль.

Над выражениями Лейкина посмеивались.

Однако насмешки совсем не заботи-

ли Лейкина: меньше всего стремился он к тому, чтобы литераторы забыли об его купеческом прошлом. Наоборот, Лейкину очень нравилось, что он, известный писатель, автор многих книг, редактор популярного журнала, похож на простого русского человека. Право же, слишком много появилось в русской литературе неврастенических личностей с нерусским выговором!

И Лейкин с наслаждением произносил свои, казавшиеся ему совсем не литературными и потому любимые им выражения, с наслаждением выполнял свои обязанности церковного старосты, с наслаждением называл так по-просту, по-купчески, звучавшее имя своей жены: Прасковья Никифоровна...

3

Лейкин писал рассказы, сценки, повести, романы, все смешные, — писал ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней.

— У меня двадцать тысяч рассказов, — говорил Лейкин тем тоном, какими помещики говорят: у меня двадцать тысяч десятин.

В тридцать лет он был известным юмористическим писателем и церковным старостой. В сорок он был домовладельцем, гласным городской думы, издателем и членом правления кредитного общества.

Лейкин принадлежал к числу тех людей, которые любят, чтобы их день был заполнен разнообразными делами, но чтобы эти дела не нарушали обыкновенного хода однообразной в целом жизни.

Лейкину нравилось успеть за день написать рассказ, побывать в двух-трех редакциях, зайти в контору «Осколков» посмотреть за подпиской («Сами знаете, — объяснял он, — свой глаз — алмаз»), появиться на нескольких заседаниях, посоветоваться насчет личных дел с людьми, которых он твердо считал с в о и м и, закусить в не самом дорогом, но хошем ресторане, потом у себя дома, перед сном, уже наполовину раздетым, собраться с мыслями, сделать какие-нибудь важные и интересные подсчеты...

Ему казалось, что все эти дела и заботы нужны не для того, чтобы, богатея, непрерывно менять свою жизнь, а наоборот, для того, чтобы, богатея, сохранять ее такой, какая она есть, сидеть на одном месте прочно, уверенно, не оскорбляя жизнь торопливостью.

Лейкин родился в Петербурге, на Николаевской улице. На этой же Николаевской улице жил он и теперь, когда давно уже позабыл о своем крестьянском звании, бедности, конторской службе...

Просьбы сотрудников о прибавке гонорара каждый раз неприятно волновали его.

— Характерные просьбы, — бормотал он, и лицо у него краснело.

Лейкину казалось, что просят сотрудники прибавку не столько потому, что им хочется получать побольше денег, а потому, что им доставляет удовольствие припугнуть, напомнить о том, что они могут взять и уйти в другой журнал.

Эти подозрения заставляли его уступать, он прибавлял, но чтобы уравнивать бюджет, писал сам в «Осколках» еще больше — ведь собственный материал был бесплатный...

Сидя в редакции «Осколков», он вдруг вскрикивал: «Душно!» и бросался к окну. Потом, успокоившись, просматривал юмористические рисунки и фельетоны.

Лейкин постоянно советовался с врачами, принимал лекарства, выписывал патентованные средства.

В летние вечера, вернувшись на дачу из города, он поливал цветы, стараясь нагнуться над ними пониже.

— Чтобы похудеть, — слегка задыхаясь, говорил он гостям. — Странное дело, толстею в брюхо.

4

У него были свои любимые герои. К ним он возвращался из рассказа в рассказ: купец первой гильдии Семен Тарасович Волкодавов, домовладелец Мутиков, подрядчик по строительной части Иван Захарыч Купоросов, торговец мясом Буеракин...

В рассказах Лейкина они заседали в кредитном обществе, играли в префе-

ранс, кутили в Малом Ярославце, брали немцев и евреев...

Описывал их Лейкин как будто очень натурально, совсем похожими на знакомых ему купцов, домовладельцев и подрядчиков: те же бороды и сюртуки, те же выражения и мысли. Он знал, какие словечки надо вставлять в речь своих героев, чтобы она смешлила и звучала почти естественной.

Когда Чехов читал Лейкина, ему свои собственные рассказы начинали казаться очень искусственными, шаржированными, сделанными. Чехов не подозревал, что в этой шаржированности было настоящее искусство. Но он уже замечал, что в натуральности лейкинских рассказов заключалось что-то сырое и принимающее...

Книжки Лейкина словно были написаны человеком, который в томи-тельно жаркий полдень сидит без пиджака в подтяжках за самоваром, пьет чай и наблюдает, что делается в окошке напротив. — кажется, там тоже сидят за самоваром и пьют чай.

Лейкин нравился тем, кого он описывал: купцам, мелким чиновникам, конторщикам, свахам, отставным штабс-капитанам, вдовам неопределенного звания. Кроме того, Лейкин нравился Александру III. В лейкинских книжках часто встречались описания крестин, свадеб, разговоров, именин, бдений. Эти места царь по вечерам читал вслух своей семье. Лейкин особенно гордился успехом во дворце, потому что считал себя писателем либерального направления; значит, настоящий талант может примирить с либеральными идеями даже царя Александра III.

5

Писателей, бескорыстных в искусстве и неразлучных с бедностью, Лейкин находил людьми не полной жизненной цены. Он жалел их, точно горбунов, — с приятным сознанием своего верного устройства.

Когда где-нибудь появлялся не совсем одобрительный отзыв о лейкинских книгах или об «Осколках», он, Лейкин, очень долго думал о том, что именно хотел сказать критик своим неодобрительным отзывом. Поверить,

что одни литераторы могут бранить и печати других литераторов, не преследуя при этом никаких задних мыслей, было ему очень трудно. Какой смысл человеку наживать себе врага без всякой надежды извлечь при этом какую-нибудь выгоду для себя? Для этого человек по своей природе достаточно робок.

Обдумав тайнсе значение критического выступления, Лейкин защищался очень осторожно. В фельетоны своих сотрудников, тек, что были победнее и незаметнее, он вписывал пужные ему бранные строки. Иные сотрудники сперва негодовали, потом успокаивались и при получении гонорара уже радовались лишним, заработанным без всякого труда, полтинникам. Им-то что! Пусть в большой литературе запомнят хотя бы их бранные слова...

Конечно, если автором дурного отзыва оказывался какой-нибудь известный писатель, Лейкин очень огорчался. Но, огорчаясь, в этих случаях Лейкин не удивлялся: он искренно полагал, что такие писатели, как Достоевский, Успенский, Гаршин, бездомные, всегда кругом в долгах, не могут не завидовать ему, юмористу Лейкину, владельцу дворца графа Строганова на Неве.

И то, что иные писатели рвут и сжигают свои рукописи, заболевают тоской, кончают жизнь самоубийством, не оставляя даже предсмертных записок, Лейкин объяснял все той же натуральной завистью к тем, кому благодаря особому счастливому складу натуры удалось превратить свой талант из источника нищеты и бессонницы в источник больших, правильно поступающих доходов и ровной, ничем не дергающей известности.

Большие доходы и ровную известность принесло Лейкину занятие юмористикой. Этого было достаточно, чтобы он навсегда потерял вкус ко всякому другому роду литературы. Как человек, определив почему-либо себя в торговли кожей, а не ситцем или зеленым товаром, с годами начинает ощущать торговлю кожей самым естественным для себя занятием, а торговлю ситцем или зеленым товаром — занятием не вполне естественным, так же и Лейкин крепко держал-

ся своего юмористического жанра, хорошо ему знакомого, и главное — естественного.

Когда Лейкин рассматривал свежий номер «Осколков», он больше всего радовался тому, что этот номер похож на предыдущий: полосные рисунки в краску, карикатуры в тексте, рассказы, маленький фельетон, анекдоты, объявления — все на тех же привычных местах, нарисованное и написанное все теми же сотрудниками, так, как рисовали и писали в журнале и в прошлом году, и два года назад.

Глава четвертая

«Журналистика убавляет только тех, которые должны быть убиты — вот и все».

Э. Золя, «Парижские письма»,
«Вестник Европы», 1880 год.

1

Для Лейкина Чехов писал «Осколки московской жизни».

Когда запас тем окончательно иссякал, Чехов шел к Гиляровскому, которого называли дядей Гиляем и который сам себя любил называть Емелей Золя.

Дядя Гиляй был человеком разнообразных жизненных занятий — грузчиком, циркачом, военным, издателем спортивного листка. Знавший всю Москву и сам знакомый всей Москве, он не называл себя королем репортеров только потому, что писал плохие стихи и считал себя поэтом.

Половые в трактирах, увидев дядю Гиляя, торопливо несли ему стакан водки; кафельдинеры почтительно пропускali его в зрительный зал; контролеры в поездах проходили мимо, не решаясь спросить у дяди Гиляя билет, которого, впрочем, у него никогда не было.

Любое происшествие теряло для Гиляровского смысл, если он не узнавал о нем первым. Вся гигантская энергия этого человека уходила на то, чтобы непременно куда-то поспеть. Он вскакивал в проезжавшие экипажи, останавливая их руками за задние колеса, мчался на пожар верхом на пожарной бочке, с пожара врывался в театр на первое представление, из театра спешил в полицейский участок,

из участка в Английский клуб, из клуба в ночную чайную, где, уже отдыхая, вел беседы с бандитами, извозчиками и слившимися поэтами. Он любил показывать необыкновенные карточные фокусы, свертывать в трубочку полтинники, наводить смертельный испуг на цепных собак, рассказывать громовым голосом анекдоты и вырывать с корнем деревья на бульварах.

Он напоминал репортеров из романов Жюль Верна, шумных, неумоимых и неправдоподобных.

Наивность Гиляровского, казавшаяся неисчерпаемой, позволяла ему всегда верить в важность и серьезность своего совсем неважного и несерьезного дела.

Чехов называл Гиляя московским обер-знайкой. И нередко Гиляй, потянув из надушенной табакерки, делился с Чеховым своим репортерским богатством.

Рассказы Гиляя Чехов слушал без зависти. Чехов понимал, что настоящим газетчиком ему не стать.

Да ему и не хотелось им стать. Он довольствовался случайными находками.

Ведь репортерство — последняя профессия Гиляя, в то время как для Чехова, будущего врача, она была первой.

2

На сцене Пушкинского театра Чехов увидел «Гамлета».

Еще в Таганроге Чехов прочел статью Тургенева о Гамлете и Дон-Кихоте — и почувствовал, что принцип датский для него, гимназиста таганрогской гимназии, живущего в доме на Елисаветинской милостью Гавриила Парфентича Селиванова, нечто неизмеримо большее, чем герой классического произведения, которое следует знать каждому образованному человеку.

Трагедию Шекспира Чехов ощущал как ту часть своей жизни, которую нельзя ни забыть, ни уничтожить. Почему? На этот вопрос Чехов едва ли мог бы ответить.

«Гамлета» Чехов знал почти так же хорошо, как библию. Не было дня, чтобы по какому-нибудь поводу он не

вспоминал бы из «Гамлета» ту или иную строку.

В Пушкинском театре Гамлета играл известный актер Иванов-Козельский.

Он говорил голосом, идущим из самой души, и плакал настоящими слезами. В нескольких сценах ему в самом деле удалось тронуть зрителя.

Но чтобы играть Гамлета — мало задушевности и настоящих слез. И самый задушевный голос к концу спектакля тускнеет, а настоящие слезы размазывают грим.

Возбуждение в этом случае бессильно. Здесь нужно знание многих очень важных вещей, которое должно у артиста незаметно переходить в воображение и чувство, если только он настоящий художник.

На бедной и тесной сцене Пушкинского театра «Гамлет» шел плохо. Дворцовые палаты казались обывательскими комнатами, из которых только что вынесли диваны, шкалы и кровати.

И все же с радостью слушал Чехов слова, знакомые и любимые с давних времен.

Но в московских театрах играли Виктор Крылова чаще, чем Шекспира. Большой успех имели пьесы, где зрители узнавали хороших знакомых. Если драматург пренебрегал этим эффектом, сами актеры гримировались под чье-нибудь модное лицо. В антрактах зрители спорили, кому принадлежат бабены — генералу Скобелеву или писателю Григоровичу.

Вскоре после спектаклей «Гамлета» Пушкинский театр закрылся. Шекспира, видимо, ценили только суфлеры и молодые учителя словесности. На месте Пушкинского театра открылся кафешиантан Фоли-Бержер.

Очень скоро Чехов перестал сравнивать московские театры с таганрогским, а перестав сравнивать, почувствовал разочарование.

Все сильнее уваливал он пошлость, которой было пропитано все, что имело отношение к сцене: пьесы, рецензии, афиши, декорация, бенефисные подношения...

Театр, где актеры не стеснялись выходить на сцену не выучив роль или в лопнувшем трико, казался Чехову придачком к вешалке и буфету.

3

«Сквозь тяжелый запах подофрома чувствуется свежесть и аромат весеннего дня».

Чехов. «Неприятность».

Весной, когда на дорогах к московским дачным местам появлялись первые подводы, груженные венскими стульями, корытами, сундуками, умывальниками и трехколесными велосипедами, Чехов вспоминал о дачах и о природе, но оставался в городе без особого сожаления. Редакции, приятели, городские новости — все это притягивало и слегка уже засасывало. Без свежих номеров «Будильника» и «Осколков», без разговоров с литераторами о литературе Чехову было скучно.

В воскресные дни Чехов садился на конку и ехал на гулянье в Сокольники. Две тощие лошади медленно, похоронным шагом, тянули двухэтажный вагончик мимо деревянных домиков, запустелых фабричных дворов и бесконечных лесопильных складов. На спусках лошади слегка прибавляли шаг, сидевшие в конке дамы испуганно прижимали к себе детей, кондуктор отчаянно вертел ручку тормоза.

В Сокольниках на усыпанном желтым песком кругу играл военный оркестр. Во время пауз музыканты вынимали из карманов соленые огурцы и жевали их, равнодушно оглядывая слушателей.

По прямому, усаженному акациями проспекту один за другим катили на резинах блестящие экипажи. Сосновая роща пахла угаром: всюду между деревьев поднимался лиловый самоварный дым. Продавцы тростей, фокусники, гадалки и просившие милостыню отставные солдаты окружали гуляющих.

Чехову приходили на память две картины, на которых художники изображали Сокольники. Одну из них написал Николай, другую — его приятель, изредка помещавший рисунки в «Будильнике», Исаак Левитан.

На картине Николая было много людей в клетчатых брюках со штрипками и в котелках, она казалась смешным фарсом на тему «Пикник». Левитан изобразил Сокольники осенью: усеянная желтыми листьями аллея, по ней идет одинокая женщина.

Когда Николай в «Гулянье в Сокольниках» писал Фой, он обратился за помощью к Левитану. Когда Левитан в «Осеннем дне в Сокольниках» писал фигуру женщины, он обратился за помощью к Николаю.

Картина Николая была созданием веселой наблюдательности. Глядя на нее, Чехову хотелось сесть за стол и написать быструю юмористическую сцену. От картины Левитана веяло верной и нужной человеку грустью. Она вызывала тоску по природе, желание увидеть ее такой же чистой, свободной от воскресной толпы и садового дыма, какой она была на полотне художника.

Эта тоска, легкая, мимолетная, составляла иногда Чехова выезжать из Москвы далеко за московские заставы, к берегам скромных, заросших ивняком речек.

Но близость дач — с их клумбами в форме сердец, блестящими металлическими шарами, отсыревшими, лениво взлетающими ракетами в честь какой-нибудь именинницы — превращала дачную природу в нечто не очень серьезное.

В летние месяцы редакция требовала дачных рассказов. Среди прогуливающихся по дачным платформам гимназистов, студентов, офицеров в белых кителях, дам с цветными зонтиками, солидных отцов семейства в чесучевых рубашках и люстриновых пиджаках Чехов находил нужных ему героев.

Вечером, когда на дачных террасах зажигались зеленые абжурны, Чехову хотелось поскорее обратно в Москву, потому что рассказ был уже готов и его оставалось только записать.

А записать готовый рассказ Чехов всегда спешил.

Не только потому, что редакция постоянно торопила, но и потому, что от этого рассказ большей частью выигрывал: он казался живым наброском только что подсмотренной сценки, только что подслушанного разговора.

Рассказы, написанные Антошей Чехонте не сразу, не в один присест, нередко выходили у него гораздо хуже, чем написанные второпях — дома за обеденным столом или на подоконнике в редакции.

Глава пятая

1

Некоторые мелочи, написанные на заказ, доставляли самому Чехову какое-то неожиданное удовольствие.

Когда Чехов сочинял литературные пародии, он забывал об издателях, редакторах и подписчиках.

Перечитывая эти пародии, он смеялся, словно над чужими вещами.

Были у него пародии на Виктора Гюго, на Жюль Верна, Понсон дю Террайля, автора «Рокамболя», на модные романы венгерского писателя Мавра Йокая.

Пародия на Мавра Йокая, впрочем, совсем не удалась. Она была почти так же длинна, как произведения самого Мавра Йокая, и Чехов с досадой замечал, что он больше подражает венгерскому романисту, чем его высмеивает.

Сочинил еще Чехов несколько маленьких рассказов под общим названием «Жены артистов» — пародию на Альфонса Додэ.

К этой пародии у Чехова было особое отношение.

«Отверженными», «Путешествием с земли на луну» и «Рокамболом» Чехов увлекался в детстве, теперь же он был равнодушен и к Гюго, и к Жюль Верну, и к Понсон дю Террайлю. Красноречие Виктора Гюго и газетность Жюль Верна уже казались ему только манерой.

Высмеивая Гюго и Жюль Верна, Чехов высмеивал свое собственное прошлое, ставшее уже далеким. Из стиля этих писателей Чехов вырос, как вырастают из пеленок.

Но Альфонс Додэ он любил и теперь. Любил его теплоту и изящество, его наблюдательность, может быть мелкую, как бы женскую, но и в этой самой женственности живую и нервную. Любил скромную песнь Додэ о понятном и бестолковом человеческом счастье.

В «Вестнике Европы» Чехов прочел корреспонденцию Золя об Альфонсе Додэ.

Чехов узнал, что автор «Сказок понедельника» явился в Париж с юга, из

Прованса, явился молодым и свободным. Он был поэтом, но на него смотрели как на газетчика. Он приносил сказки о людях и природе родных мест, а от него требовали заметок для дневника происшествий. Додэ прятал в карман свои сказки и приносил эти заметки с таким бесечным и улыбающимся видом, точно это были цветы, сорванные во время утренней прогулки.

И в самом деле, Фельетоны и репортерские заметки Додэ, словно подобранные на парижских улицах, пахли все же не асфальтом и светильным газом, а мятой и лавандой.

Париж хотел превратить неведомого провинциального молодого человека в бойкого журналиста, отняв у него поэзию. Додэ, став журналистом, воспитал в себе поэта.

Сведения о Додэ показались Чехову очень интересными.

Он вспомнил Некрасова, его писательскую молодость — лихорадочное, изо дня в день, из месяца в месяц, писание на заказ рассказов, повестей, романов, драм, водевилей.

Так ли нужна поэту прямая и гладкая дорога к своей поэзии?

Не должна ли эта прямая и гладкая дорога казаться поэту слишком прямой и слишком гладкой, если только он — истинный поэт?

Не убивает ли журнализм только тех, кто все равно обречен на бесплодие?

Чехов купил портрет Додэ, чтобы повесить его у себя в комнате.

Но в конце концов Чехов раздумал и заложил портрет Додэ между страниц учебника анатомии Гирля.

Что было Чехову до героев Гюго или Жюль Верна — уродливых горбунов, громких мечтателей, огненно-рыжих каторжников, честных шкиперов, что было ему до готических соборов, освещенных бенгальскими огнями, и до таинственных островов, описанных романистом с прозаической точностью специального корреспондента?

Но мир, заключенный в рассказах Додэ, был близок Чехову.

В «Женах артистов» Додэ рассказы-

вал об обитателях парижских мансард, о людях богемы, уравненных нищетой настоящего и застоявшимися мечтаниями о будущем. Здесь существование питало надежды, потому что без надежд не было бы возможно это существование.

Жизнь этих людей требовала искусственного освещения, иначе декорации казались слишком жалкими.

В сущности, чеховские «Жены артистов» и не были пародией на Додэ, а рассказами, которые Антоша Чехонте как бы посвящал французскому писателю.

Николай взялся сделать к «Женам артистов» иллюстрации.

Он нарисовал нищих художников и музыкантов, вспененные волны дамских шлейфов, пышные галстуки, палитры, кисти, ноты, портреты знаменитостей на стенах чердаков — остроносый крысиный профиль Сарры Бернар, пенсне и длинные бакены Жака Оффенбаха...

В рисунках прекрасно сочеталась насмешливость с нежностью. Богему Николай наблюдал не в мансардах Монматра, а в меблированных комнатах Сретенки и Бронной. Герои Альфонса Додэ видели из окон своих мансард Париж. Знакомые Николаю художники и музыканты жили в обстановке, казалось нарочно созданной для того, чтобы внушить мысль о неуместности какой бы то ни было красоты в существовании человека.

Превращая своих друзей с Бронной и Сретенки в обитателей Монматра, Николай создавал в своих рисунках нечто жизненное и правдивое. Николай умел возвысить действительность, не искажая ее сущности и не приукрашая ее формы, а только внеся в нее свой талант и тем сделав ее более понятной сердцу, как делается более понятной глазу темная комната, в которую внесли зажженную свечу.

Иллюстрируя «Жен артистов», Николай едва ли догадывался о том, что он иллюстрирует письма к самому себе, потому что «Жены артистов» были первыми зашифрованными письмами Антоша Чехова к своему старшему брату художнику.

2

«—Когда я гляжу на этих людей, мне кажется, что я у себя в мертвецкой.

— А мне кажется, что все это натурщики».

А. Чехонте. Подпись к рисунку «Специалисты в бане». «Осколки», 1883 год.

Когда Николай решил сделать к пушкинскому юбилею несколько журнальных рисунков, он придумал только одну тему: Пушкин сидит в отдельном кабинете у «Яра», пьет шампанское, слушает цыганский хор и пишет стихи. Эти подробности из жизни Пушкина Николай знал потому, что прочел брошюру, изданную к юбилею владельцем «Яра».

В брошюре указывались марки шампанского, которые спрашивал Пушкин.

Возможно, что других книг о Пушкине Николаю читать не случилось.

Как только Николай получал где-нибудь деньги, он начинал вместо чая пить только сотерн и есть только салаты. Взяв однажды аванс под срочную работу, Николай три дня пил, потом объявил в редакции, что, захав к приятелю, упал в обморок, продолжавшийся три дня.

Работал Николай мало.

Он удивительно легко мирился с пятнами на обоях, с остатками обеда на клеенке, с ведром в углу, с мертвыми мухами на подоконнике, но стояло ему только взять в руки кисть, как в нем пробуждалась внезапная требовательность, и он плачущим голосом начинал жаловаться на обстановку, называя ее нехудожественной.

Когда кто-нибудь спрашивал Николая о том, как подвигаются его последние картины, он раздраженно отвечал:

— Неужели вы думаете, что я могу здесь писать? И потом... воздуха мало. Художнику воздух нужен.

Летом Николай вместе с кем-нибудь из приятелей-художников уезжал на этюды — в подмосковные деревни или в маленькие, как будто навсегда забытые городки, разноцветные и такие тихие, что казались скорее своеобразными уголками природы, чем созданиями человеческих рук.

Сперва все увлекало здесь Николая:

и древний собор с железной дверью, зеленой от старости, и гостиный двор, увешанный большими замками, и река, по которой проплывали иногда ржавые пароходики.

Но проходила неделя, все казалось Николаю уже знакомым и надоевшим, и опять с раздражением он говорил своему спутнику, указывая на домик, в котором они жили:

— Разве я могу работать в этом са-рае?!

Возвращался Николай в Москву с пустым альбомом и с нетронутым запасом красок, весь в пыли, скучный и молчаливый.

Он оживлялся только тогда, когда «по секрету» рассказывал Антону о своих романах.

Если какая-нибудь девушка, признаваясь Николаю в своей любви к нему, говорила о браке, Николай отвечал ей, что художник не должен иметь семьи. Видимо, он гордился тем, что занимается такой профессией, которая отнимает право иметь жену и детей, но дает право ездить в Салон де Варьете на Большой Дмитровке.

В этих случаях Николай казался Антону глупым до жалости, хотя он хорошо знал, что Николай совсем не глуп и только немного жалок.

Женщину, с которой он жил, Николай называл так: Кувалдица.

Иногда Николай приводил к Антону своих товарищей-художников.

Среди них были ученики училища живописи и ваяния, носившие пледы через плечо — по-студенчески, были и художники, немолдые, давно ставшие профессионалами.

О своих друзьях Николай говорил или как о талантах, подающих большие надежды, или же как о мастерах, которых публика не понимает.

В столовой начинался разговор о живописи. Гости бранили Семирадского, Шишкина, Маковского, Репина. Свои мнения художники высказывали отрывистыми и пренебрежительными фразами.

Со стороны могло показаться, что идет горячий спор. На самом же деле обвинения по адресу знаменитых художников повторялись каждый раз не по страстной любви к своему искусству, а только по привычке, по вялой и

вместе с тем неистребимой потребности еще раз убедить самого себя в том, что слава всех этих знаменитостей основана прежде всего на «измене искусству». И, право же, стоит любому из них, собравшихся у Николая, отказаться от своих художественных убеждений, изменить искусству, — и у него будет слава, уж во всяком случае никак не меньшая, чем у какого-нибудь Кундзи или Шишкина.

Поспорив, художники забывали и о Семирадском и о Репине, и говорили уже только о себе, о вензелях своих еще картинах, будущих восторгах жюри, премиях, успехах, известности. Одному хотелось нарисовать громадное полотно, на котором будет изображена восточная пленница, совсем нагая. Другой был уверен, что его будущая картина принесет ему поездку в Италию на казенный счет. Третий надеялся, что его пейзаж станет известен каждому образованному человеку по тысячам репродукций в красках.

Чужая слава вызывала в этих людях не чувство гордости, а тревогу. Им никогда не приходила в голову простая мысль, что в искусстве славу никогда не делают, а только умножают.

Пока все эти ученики училища живописи и ваяния и сотрудники иллюстрированных изданий оставались бедными и безвестными, пока они жили в дешевых номерах, задалбливали коридорному за самовар, сходились с натурщицами и модистками, носили лето и зиму одно и то же поношенное пальто, — о них в компании Николая говорили хорошо, охотно передавали им заказы на журнальные рисунки и копии маслом с известных картин.

Но стоило только кому-нибудь из них обратить на себя внимание, осуществить, наконец, свои замыслы, перестать вести непрерывную борьбу за рубли и копейки, — и отношение к нему сейчас же изменялось: его называли теперь пропащим талантом, пошлым ремесленником, думающим только о забаве публики. Если теперь с этим художником компания ходила в трактир и ему, как человеку со средствами, приходилось платить за всех, то денег потом ему не отдавали и долгов этих не только не стеснялись, но говорили о них с какой-то гордостью.

Очень часто гости, пошептавшись в передней, отправлялись куда-то. Вместе с ними уходил Николай. Прошавшая, он говорил, что только зайдет «в одно место» и скоро вернется.

Но возвращался Николай лишь под утро, садился на кровать и долго сидел на ней, что-то бормоча, потом с шумом стаскивал с себя сапоги, босым начинал расхаживать по квартире, подходил к шкапчику в коридоре, потом пил воду, снова садился на кровать, внезапно вскакивал и бежал к умывальнику.

Антон вспоминал, что рвота у пьяных людей имеет в медицине особое название: *Emitus potatorum*.

Emitus potatorum... На улице уже рассвело, мимо окон продребезжала запоздавшая ночная карета, в фонарях у нее, подпрыгивая на каждом булыжнике, горят еще свечи; торчащая над крышами и садами колокольня кажется на розовом небе совсем плоской, словно вырезанной из картона; первые лучи солнца падают на грубо крашеный пол, на обитый черной клеенкой диван, на ноги Николая в продранных носках... Во сне Николай всегда натягивал одеяло на голову, отчего ноги у него высывались из-под одеяла. Так, вероятно, спит большинство людей, привыкших ложиться на рассвете, когда солнце уже бьет в глаза и мешает заснуть.

Emitus potatorum!.. Сколько дорогих и давних надежд, сколько счастливых обманов кончается этой внезапной бледностью и рвотой над жестяным умывальником, спящем в продранных носках, в жалкой комнате, на черном клеенчатом диване!

Не являются ли все эти длянные, давно знакомые разговоры за бутылкой пива об искусстве — о натурализме, о французах, об эффекте, о тупости жюри, о пошлости публики — не тем, что защищает в человеке способность сделать нечто свое, верное и нужное, а как раз тем, что разрушает эту способность — так, как разрушает ее вставание под вечер, привычка обшаривать шкапчик в поисках забытой бутылки с водкой в ночные поездки в «одно место»...

Но эти разговоры нужны Николаю

и его друзьям, без этих разговоров они не могут жить. Они убеждены, что эти разговоры, столь непохожие на разговоры обывателей, каких-нибудь лавочников или нотариусов, как бы обезвреживают и уничтожают действительность окружающей жизни, ее неприглядной нищеты.

Но громкие и уверенные фразы об искусстве с некоторой поры казались Чехову выражением все той же нищеты, звучали для него своего рода грубостью, чем-то похожим на пренебрежение порядком и чистотой в жилье и в одежде, на легкое отрицание самого себя.

Отрываясь на недолгие часы от привычной спешки, от тягостной и одновременно веселой необходимости быть всегда изобретательным, держа свой талант в состоянии особой, изнуряющей журналистской возбужденности, Чехов написал несколько рассказов, серьезных и грустных, как будто совсем мало связанных с текущим днем и все же показавшихся самому Чехову неизмеримо более жизненными, чем многие как бы подсмотренные им сценки и подслушанные им диалоги.

То были рассказы о себе самом, о Николае и его друзьях, о своем труде и своих глубоко запрятанных душевных тревогах, о жизненном долге человека, который называет себя художником не потому, что так называется приятно, а потому, что без чувства себя как художника все существо человека изнашивается, как в болезни.

3

Удивителен был первый из этих чеховских рассказов о богеме. «Конь и трепетная лань» — так назвал его Чехов, словно для того, чтобы легкой насмешливостью, привычной небрежностью тона хоть слегка приглушить душевность, не принятую в журнальной юмористике.

Впрочем, свой рассказ Чехов напечатал не в юмористическом журнале, а в «Петербургской газете». Здесь не требовали, чтобы рассказ был обязательно смешным.

Но ведь сам Чехов не привык к этой душевности. Слишком трудным казалось ему выступить перед тысячами

читателей с простым рассказом о самом себе.

И Чехову удалось замаскировать личное в рассказе. Едва ли подписчик «Петербургской газеты» могلو притти в голову, что, рассказывая о репортере Фиброве, Чехов приподнимает завесу над своей биографией. Да и что было подписчикам «Петербургской газеты» до биографии Антоши Чехонте!

У одного знакомого портного, занимавшегося писанием стихов и очень искренно любившего литературу, Чехов нашел книжку афоризмов Генриха Гейне.

«Аромат — это чувство цветов. Как человеческое сердце сильнее чувствует ночью, когда оно считает себя одиноким и неподслушиваемым, так цветы, в задумчивой стыдливости ждут ночной тьмы, чтобы вполне отдаться своим чувствам и вылить их в сладком аромате».

Эти строки Чехов отчеркнул на полях.

Может быть, он подумал о том, что следует описать разговор ночью двух людей, разговор искренний, взволнованный, полный доверия друг к другу. Но вот наступает утро, люди чувствуют только равнодушие и досаду, и этим равнодушием и досадой как будто мстят друг другу за ночные признания...

«Конь и трепетная лань» — один из этих чеховских ночных разговоров.

Третий час ночи. Супруги Фибровы лежат в постели, но не спят. Он не спит потому, что его мутит после пьянства, она потому, что думает о чем-то, глядя на уже светлеющее в темноте окно.

Фибров — репортер. Он пьет потому, что репортер не может не пить. Анафемская должность! Чтобы получить необходимые сведения от какого-нибудь чинишки, с ним надо выпить.

— Вася, богом молю тебя, поедем жить в провинцию.

Но Васе трудно отказаться от сознания того, что он — столичный житель, занимается литературой, знаком с какой-то Клеопатрой Сергеевной. В душе он понимает, что Катюше не могут нравиться люди, с которыми он водит компанию: пьяный поэт, актер в грязных ботфортах и эта Клеопатра Сер-

геевна, полагающая, что раз она пишет музыкальные фельетоны, то значит может пить водку и снимать при мужских корсет¹.

Трудно жить так, как живет Фибров, но и отказаться от этой жизни тоже трудно. Страшно отказаться от надежд, которые заставляют человека, пренебрегая всем простым и чистым, бегать вокруг чужой славы.

Пока он, Вася Фибров, столичный репортер — ничего еще неизвестно. Он может стать романистом, переехать в хорошие номера, даже снять отдельную квартиру. А когда будущее неизвестно, — человек кажется самому себе еще молодым. И это чувство молодости позволяет ему терпеть и запах прачечной в квартире, брань и песни соседей, нищету...

А поселиться в Туле — неизвестность рассеется безвозвратно, и все, что есть, будет навсегда. Навсегда — такое же страшное слово, как никогда.

Ночной разговор закончен. Вася уходит из дому, чтобы жить вокруг чужого счастья. Домой он вернется пьяным.

Мало напоминал этот рассказ об аромате цветов. Но этот рассказ напоминал близкую Чехову жизнь.

Через много лет Чехов напишет ночной разговор между доктором Астровым и Соней, разговор под мягкий шум ночного дождя.

Но сейчас жизнь вокруг Чехова слишком груба, а талант Чехова еще слишком незрелый, чтобы оторваться от этой грубости.

Переулки между Трубой и Сретенкой — с их подвалами, публичными домами, татарскими лавками — какой уж тут, в конце концов, Гейне!

Каждая строка рассказа «Конь и тре-

петная лань» отражала нечто дорогое, важное и тайное для Чехова.

Для Чехова рассказ этот был автобиографичен.

Но кто в этом рассказе — Чехов?

В судьбе Васи Фиброва очень много схожего с судьбой газетчика Чехова. Большая часть того, что писал Антоша Чехонте, непрерывно подгоняемый нуждой и срочными заказами, гораздо больше напоминало самому Чехову репортерские заметки о кражах и пожарах, чем истинные создания писателя. И так же как Фиброву, эта работа не давала ему достаточно денег, чтобы жить хоть сколько-нибудь обеспеченно. Как у Фибровых, пахло у Чеховых прачечной, так же не было порядочной мебели и достаточно белья, так же кругом слышались тяжелая брань и раздавались звуки разухабистых песен.

Бывало так, что и самого автора рассказа «Конь и трепетная лань» близкие уговаривали бросить свое ремесло и оставить Москву.

В дни, когда в доме совсем не оказывалось денег и Антону приходилось идти в ломбард снова закладывать все те же случайно сохранившиеся от таганрогских распродаж вещи, тетка Федосья Яковлевна со вздохом говорила:

— Вернулись бы в Таганрог... Право же лучше, чем здесь маяться.

Чехов хорошо знал, что в Таганрог он не вернется.

4

Автобиографичен рассказ «Конь и трепетная лань», но автобиографичность эта — сложная, не зашифрованная, а переработанная, склонная противоречить самой себе.

Глубокие личные чувства сливаются с наблюдением окружающего — холодным по своей природе и обманчиво мягким по своему действию.

Выделить из рассказа эти личные чувства и затаенные мысли о самом себе, в конце концов, оказывается невозможным, как невозможно снять с поверхности реки отражения речных берегов.

Чем больше автобиографического угадываешь в рассказе о Фиброве, тем

¹ Существует целая литература по вопросу о личности в чеховском рассказе «Попрыгунья». Считается бесспорным, что прообразом героини рассказа Чехова была художница С. П. Кувшинникова — подруга И. И. Левитана. Однако следует заметить, что этому рассказу предшествует целая серия произведений, в которых Чехов — задолго до знакомства с С. П. Кувшинниковой — разрабатывал тип «попрыгуньи». Одним из таких беглых набросков этого типа и является Клеопатра Сергеевна, упоминаемая в рассказе «Конь и трепетная лань».

одновременно резче ощущаешь несходство Чехова с Фибровым.

Вокруг чужой славя Чехов не суетился. Маленький газетчик, поставщик журнальных мелочишек, он, в конце концов, оставался спокойным и свободным, наблюдающим чужую славу скорее насмешливо, чем возбужденно.

Чехов хорошо чувствовал опасность своего журнального ремесла. Несмотря на это, он ни на минуту не считал свое будущее проигранным. Как-то незаметно и для себя и для других он повел свою жизнь.

Внезапные решения изменять жизнь, изменить ее круто и бесповоротно, были ему неизвестны.

Было у Чехова только одно решение: вести свою жизнь талантом.

Это значит — много трудиться, искать, мучиться, но чтобы и труд, и поиски, и мучения, в конце концов, были похожи на большую и настоящую радость.

Это спокойствие и чувство свободы освобождало Чехова от ощущения схожести со своим героем Фибровым. Маленьких поэтов и актеров, людей иногда милых и одаренных, но чаще всего ничтожных, Чехов видел скорее глазами Катюши, чем Фиброва.

Эти люди удивляли Чехова своей грубостью и еще больше своим нежеланием отделаться от этой грубости.

О дамах, которые полагали, что близость к искусству дает им особые права, Чехов говорил с холодной усмешкой.

Их оригинальность казалась Чехову все той же грубостью, только иначе выраженной.

Когда Катюша говорит о друзьях мужа, кажется, что с читателем говорит сам Чехов, — хотя бы о друзьях Николая.

Но ведь Катюша — робкая мешаночка, «трепетная лань». И ее сон о домохозяйке, о собственных курах и утках, о голубях, что глядят из слухового окна, о провинциальной типичной кругом — самый радостный сон, какой только может быть в ее жизни.

Вырвался Чехов из этого мира, и никогда больше не согласится он вернуться туда. Жить надо в столице или же где-нибудь в лесной сторожке, совсем одиноко, а жизнь в российских

больших деревнях, называемых провинциальными городами, — большая и, вероятно, непоправимая глупость для человека, который хочет заниматься искусством.

Рассказ «Конь и трепетная лань» напоминает о том, что тогда только литература находит дорогу к читателю, когда в каждом вымышленном герое заключена хоть небольшая частица души самого писателя, — даже в том случае, если писатель создает этого героя, чтобы его уничтожить.

5

Но Фибров, в конце концов, репортёр — и только. Он опешляет свою жизнь, молодость, надежды, но не свой талант, потому что таланта этого у него нет.

Несчастье Фиброва почти ничем не отличается от несчастья Катюши. Фибров потерял вкус к провинциальному счастью, к домику, курам в голубях не потому, что он возвысился над мешанскими мечтами, а потому, что он заблудился в этих мешанских мечтах.

Главным в Николае был талант. Поэтому Николай мог спокойно отвернуться от этого рассказа.

И Чехов пишет новый рассказ — «Тапер». Если «Конь и трепетная лань» — рассказ об утерянном мешанском счастье, то «Тапер» — рассказ об утерянном таланте.

Снова ночной разговор, но уже не в убогой московской квартире, а в номере (удивительно умел Чехов угадывать эти маленькие трагедии, разгрызавшиеся в московских номерах: покрытый несвежей скатертью круглый стол, одновременно служащий и для занятий и для еды; графин с желтоватой водой; запах самоварного угара в коридоре; темный пролет лестницы; швейцар, который, выходя из своей каморки отворить парадную дверь, всегда или жует, или зеваает; и в этих номерах — студенты, газетчики, старые актрисы, молодые купцы из провинции, начинающие адвокаты, комиссионеры, музыканты...).

«Второй час ночи. Я сижу у себя в номере и пишу заказанный мне фельетон в стихах. Вдруг отворяется дверь, и в номер совсем неожиданно входит

мой сожитель, бывший ученик М-ой консерватории Петр Рублев. В цилиндре, в шубе нараспашку, он напоминает мне на первых порах Репетилова; потом же, когда я всматриваюсь в его бледное лицо и необыкновенно острые, словно воспаленные глаза, сходство с Репетиловым исчезает».

Рублев вернулся с Арбата, из одного дома, где он должен был таперствовать на свадьбе.

Когда-то, то есть совсем недавно, несколько лет назад, Рублев мечтал стать известным композитором и пианистом, и с этой мечтой ехал он в Москву, за две тысячи верст. Но композитором и пианистом он не стал, а стал тапером, играющим на вечерах гремучие марши, кадрили-монстры и попури из оперетт. На него смотрят как на лакея, — а подавать лакею руку и тем более беседовать с ним об искусстве не принято.

Теперь Рублев уже забыл свои мечты и вспомнил о них лишь только тогда, когда ему на свадьбе в богатом доме дали по шее.

У него была истерика, а хозяйева решили, что он пьян.

Рублев рассказывает об этом своему сожителю и почему-то хохочет.

«— Что же тут смешного? — спрашиваю я, глядя, как плечи и голова Рублева трясутся от смеха. — Петя, ради бога!.. что тут смешного? Петя! Голубчик!»

Но Петя хохочет, и в его хохоте я легко узнаю истерику. Начинаю возиться с ним и бранюсь, что в московских номерах не имеют привычки ставить на ночь воду».

И снова в этом рассказе о молодом человеке, который мечтал стать композитором, а стал тапером, как и в рассказе о молодом человеке, который мечтал стать писателем, а стал репортером, — Чехов написал строки о самом себе.

Когда Рублев, наигрывая на рояле «Боккаччио», вспоминал своих приятелей неудачников, вспомнил он и своего сожителя.

«Думаю, сидит теперь мой сожитель и строчит... Описывает, бедняга, спящих гласных, булочных тараканов, осеннюю непогоду... описывает именно то, что давным-давно уже описано,

изжевано и переварено... Думаю я, и почему-то жалко мне тебя... до слез жалко!.. Малый ты славный, с душой, а нет в тебе этого, знаешь, огня, желчи, силы... нет азарта, и почему ты не аптекарь, не сапожник, а писатель, Христос тебя знает...»

Так Чехов писал о самом себе. Ведь это он сам описывал сляпших гласных, тараканов в булках, грязь московских мостовых, хорошо сознавая, что все это бесчисленное множество раз уже описывалось другими.

И быть может, он думал о самом себе, что нехватает ему огня, желчи, силы, нехватает способности в часы писания забыть все на свете, утратить ощущение себя, живущего в Головинском переулке и сочиняющего рассказ для «Будильника».

Но приписывал ли себя Чехов к неудачникам, приятелям Рублева, — он, кто, подобно самому Рублеву, «ехал в Москву за две тысячи верст» с молодыми мечтами в душе?

Недолго проработал он безмятежным юмористическим репортером и сочинителем газетных «романов с продолжением».

Только год-другой студент-медик первых курсов Чехов радовался этой своей работе и гордился своим ремеслом.

Рано заскребло на душе у него от этой работы, рано понял он, что оставаться газетчиком он не должен. Он будет бороться, напрягая все свои силы. О себе, как сожителе тапера Петра Рублева, сидящем ночью в номере и сочиняющем заказанный редакцией фельетон, Чехов писал уже как о постороннем.

6

Экзамены в университете очень утомляли его.

В июне экзамены кончались. Студенты разъезжались домой или на летние кондии, куда-нибудь на дачу или в усадьбу, репетировать за стол и квартиру.

Чехов оставался в Москве. У него было такое ощущение, словно экзамены не кончились, да никогда и не кончатся. Он держит экзамены перед

жизнью непрерывно, один за другим. Всегда он что-то должен, — и то, что он должен, казалось бы, взято на себя добровольно, но в то же время от него нельзя уклониться и его нельзя обойти.

Он должен писать, чтобы иметь возможность стать врачом. Он должен стать врачом, чтобы иметь возможность писать.

Кругом себя Чехов видел много людей, которые служили в разных правлениях и обществах, занимались адвокатурой и врачебной практикой, писали в газетах и журналах, но никогда экзамена перед жизнью не держали, ни за каким призом не гонялись. Вероятно, когда-то и эти люди жили мечтами. Но мечты превращались в надежды, надежды заменялись планами, потом и планы куда-то исчезали, и будущее было уже не тем иным, как неопределенным настоящим. Люди разделяются на удачников и неудачников — вот и все. Если неудачник — человек умный, он поймет, что для него лучше всего сжаться, втиснуть в себя свои мечты и надежды, обмануть жизнь бездействием. Удачнику же беспокоиться совсем нелепо, потому что на его лотерейный билет все равно падет выигрыш.

Эта философия была вполне понятной; непонятным оставалось только то, каким образом люди определяли себя в удачники или неудачники. Впрочем, это представлялось маловажным, ибо и удачникам и неудачникам следовало вести себя совершенно одинаково равнодушно.

Все эти адвокаты, врачи, журналисты, чиновники и разного рода деятели должны были внушать Чехову мысль о том, что держать экзамен не нужно для счастья или, по крайней мере, для довольства, потому что слово «счастье» как-то очень уж к ним не шло.

Мысль об экзамене никогда не покидала Чехова.

7

Встречаясь с Чеховым, знакомые заговаривали о себе с легкой грустью. Им казалось, что, всегда подчиняя свою жизнь необходимости иметь вер-

ный кусок хлеба, они, очевидно, допустили какую-то ошибку. Оказывается, что можно не подчинять свою жизнь этой необходимости и, в конце концов, устроиться еще лучше... Ведь в юности и они чувствовали призвание к искусству, могли бы сделаться писателями, артистами, художниками, музыкантами... Когда же была допущена эта ошибка, каким образом они не заметили ее вовремя и не исправили?

Они не подозревали, что дело не в ошибке, не в правильно или неправильно выбранной профессии и даже не в природной талантливости, которая встречается чаще, чем это принято думать.

Дело в готовности к жертвам, потому что в искусстве жертвы скорее необходимы, чем неизбежны. Без этой готовности — есть природный дар и нет еще художника.

Легкое и беззаботное творчество Моцарта является лишь красивой легендой. Моцарт совсем не был похож на того белозубого, фарфорового юношу, каким его обычно изображают на портретах. Лицо у него, вероятно, было верное, усталое, и надо думать, что не одна болезнь легких так рано свела Моцарта в братскую могилу для бедняков.

Готовность художника к жертвам должна проистекать не от равнодушия к своей личной жизни, а от огромного интереса к чужой жизни.

Какую имело бы цену искусство, если бы оно создавалось людьми духовно сытыми!

Правда, бывает так, что эти духовно сытые люди пишут книги, картины и романы, но никогда не бывает так, чтобы произведения сытых приобрели признание народа и силу бессмертия.

На прощание Чехов говорил своим знакомым какую-нибудь шутливую фразу — и только.

Мысли, которыми жил Чехов в эту пору, он выразил не в разговоре с знакомыми, а в разговоре с читателями.

Он написал рассказ «Открытие»: инженер, статский советник Бахромкин, сидя вечером у себя за письменным столом и машинально водя карандашом по бумаге, внезапно открывает в себе способность к рисованию.

«— Превосходно! Bravo! — восхищался он. — Поучиться бы только технике, совсем бы отлично было.

...И перед его воображением открылась жизнь, не похожая на миллионы других жизней. Сравнить ее с жизнями обыкновенных смертных совсем невозможно.

«Правы люди, что не дают им чинов и орденов... — подумал он. — Они стоят вне всяких рангов и капитулов... Да и судить-то об их деятельности могут только избранные...»

Тут же кстаи Бахромкин вспомнил случай из своего далекого прошлого... Его мать, нервная, эксцентричная женщина, идя однажды с ним, встретила на лестнице какого-то пьяного, безобразного человека и поцеловала ему руку. «Мама, зачем ты это делаешь?» — удивился он. «Это поэты!» — ответила она. И она, по его мнению, права... Поцелуй она руку генералу или сенатору, то это было бы лакейством, самоуничижением, хуже которого для развитой женщины и прадумать нельзя, поцеловать же руку поэту, художнику или композитору — это естественно...

А что если бы я сейчас был художником? Как бы я себя чувствовал?»

Пока лакей снимал с него дневную сорочку и надевал ночную, он нарисовал себе картину... Вот он, художник или поэт, темной ночью плетется к себе домой... Лошадей у талантов не бывает: хочешь не хочешь, иди пешком... Идет он жалкенький, в порыве пальто, быть может даже без капош... У входа в меблированные комнаты дремлет швейцар; эта грубая скотина отворяет дверь и не глядит... Там где-то в толпе имя поэта или художника пользуется почетом, но от этого почета ему ни тепло, ни холодно: швейцар не вежливее, прислуга не ласковее, домохозяцы не снисходительнее... Имя в почете, но личность в забросе... Вот он, утомленный и голодный, входит, наконец, к себе в темный и душный номер... Ему хочется есть и пить, но рябчиков и бургонского — увы! — нет... Спать хочется ужасно, до того, что спяжутся глаза и падает на грудь голоза, а постель жесткая, холодная, отдающая гостиницей... Воду наливая себе сам, раздеваясь

сам... ходи босиком по холодному полу... В конце концов он, дрожа, засыпает, зная, что у него нет сигар, лошадей... что в среднем ящике стола у него нет Анны и Станислава, а в нижнем — чековой книжки...

И Бахромкин засыпает со счастливым мыслям о том, что, во-время зарыв в себе художественный талант, он не оказался в числе тех, кто вынужден обходиться без лакеев, ордена Станислава и чековой книжки.

О том, что путь пишущего усеян не розами, а гвоздями, Чехов уже хорошо знал.

Но это знал и статский советник Бахромкин.

Гораздо важнее было знать, что настоящий художник защищает свой талант, как самую свою жизнь, и только в этой защите растит свое искусство.

Глава шестая

1

Лейкин прислал письмо с просьбой обязательно сочинить к ближайшему номеру рассказ посмешнее.

Чтобы рассказ пошел к номеру, нужно было его написать за ночь и отправить в Петербург с кондуктором утреннего скорого поезда.

В голове у Чехова была готова для юмористического рассказа только фамилия: Одношкеина.

Чехов часто писал рассказ вокруг какой-нибудь смешной фамилии.

Мария Ивановна Одношкеина будет сидеть на обитой бархатом кушетке в роскошно убранной гостиной — так, как полагается сидеть молодым героям великосветских романов.

Чехов набросал первые строки рассказа и остановился.

Мысль о том, что рассказ надо писать срочно, по возможности не перебивая, а посылая прямо черновик, — мысль эта всегда подстегивала Чехова, возбуждала воображение. Сев за стол и едва взявшись за перо, он уже радовался тому, что неустойчивые сочетания фамилий, лиц, движений и восклицаний оживают и приобретают силу живого сцепления только тогда, когда подгоняются под привычные и правильные формы юмористического

рассказа, сценки или пародии. Форма в литературе значит многое, особенно в юмористическом деле.

Чехов мог сказать о себе, что хорошо владеет этой требовательной и поэтому по самой своей природе не очень разнообразной юмористической формой.

С некоторого времени он с удивлением замечал, что эта форма иногда не подстегивает его воображение, а тормозит его. Неустойчивые сочетания уже не получали силы живого сцепления, а наоборот, распадались и мертвели, как только Чехов начинал думать о том, что в рассказе должно быть не больше восьмидесяти строк и что рассказ не годится, если в нем нет выверта.

Слово «выверт» любил употреблять Лейкин. Что именно оно означало, Чехов точно не знал, но когда писал, всегда ясно чувствовал, есть ли в рассказе этот нужный Лейкину выверт.

И сейчас Чехов чувствовал, что из рассказа о молодой женщине, носящей смешную фамилию Однощекиной, ничего не выйдет.

Он уже признавался Лейкину в том, что не чувствует себя способным всегда гоняться за юмором. Иногда хочется писать, совсем не думая о том, чтобы рассказ вышел обязательно смешным.

Получив это письмо, Лейкин сперва понял его так, что Чехов оставляет за собой право давать в «Осколках» не одни только самые лучшие из своих вещей. Потом, перечитав снова чеховское письмо, Лейкин решил, что Чехов недоволен условиями сотрудничества в «Осколках». Считая, что он разгадал легкую хитрость Чехова, Лейкин ответил на нее тоже легкой хитростью: сделал вид, что сетовая на Чехова на обязательность юмора принял за чистую монету.

Таким образом, все осталось внешне прежним...

Но если Лейкину сейчас обязательно нужен выверт, то вот он, этот выверт: Чехов сообщает Лейкину, что не может в любой день по заказу сочинять смешные рассказы, и это письмо напишет в форме... смешного рассказа!

Теперь Мария Ивановна Однощекина не пропадет даром.

Описав героиню рассказа, который он не хотел сочинять, Чехов заговорил совсем о другом, — о тяжести юмористического ремесла, о праве юмориста изменять юмору, ибо уж очень иногда изменяет юмору сама жизнь.

Право юмориста на неудачу — право, происходящее не из недостатка таланта, а из душевности. Об этом праве надо писать. Если юмор — искусство, то не следует занятие искусством превращать в каторжный труд.

Чехов писал:

«Мы все, сколько нас есть на Руси, пишущие по смешной части, такие же люди-человеки, как и вы, как и ваш брат, как и ваша свояченица. У нас такие же нервы, такие же печенки и селезенки. По нашим спинам бегают те же самые мурашки, что и по вашим. Нас мучит то же самое, что и вас. Вообразите же себе, что мы все, пишущие по смешной части, повержены в скорбь закрытием, например, в Москве детской лечебницы и тем, что смертные продолжают еще брать взятки, хоть и читали Гоголя. Скорбь, допустим, великая, проникновенная и за душу рвущая. И если мы теперь, покорясь вашему «е не пиши, ежели...», поддадимся этой скорби и перестанем писать в ожидании открытия новой лечебницы, то по шапке всю существующую юмористику!

А ее нельзя по шапке, читатель. Хотя она и маленькая и серенькая, хотя она и не возбуждает смеха, кривящего лицевые мускулы и вывихивающего челюсти, а все-таки она есть и делает свое дело. Без нее нельзя... Если мы уйдем и оставим поле сражения хоть на минуту, то нас тотчас же заменят шуты в дурацких колпаках с лошадиными бубенчиками да юнкера, описывающие свои нелепые любовные похождения по команде: левой! правой!

Стало быть, я должен писать, несмотря ни на измену жены, ни на перемежающуюся лихорадку. Должен, как могу и как умею. Даже при невозможности вышеописанных комбинаций, я должен писать не переставая. Нас, заведущих юмористических журналов (непрерывных членов по юмористическим делам присутствия), так мало, что нас можно пересчитать по пальцам даже страуса, у которого, как

известно, на каждой ноге только по два пальца...»

Отправив «Марию Ивановну» Лейкину, Чехов успокоился: ближайший номер «Осколков» обеспечен.

Но Лейкин «Марию Ивановну» не принял. Рассказ Чехова звучал взволнованной исповедью. «Осколкам» это было ни к чему.

«Подписчик на «Осколки», — упрямое объяснял Лейкин Чехову, — особенный подписчик и требует юмористики, веселых сценок, сатирических или шуточных и шаловливых стихов. И так уже мы не ту ногу тязем. Раздаются жалобы на серьезность».

Строки эти Лейкин написал в три часа ночи. Очень уж тревожила Лейкина серьезность, что пачкает вкрадываться в журнал.

Чехову пришлось написать для «Осколков» новый юмористический рассказ.

2

У Лейкина было чутье, и оно замечало ему литературный вкус и понимание искусства. Чутье подсказывало Лейкину, что Чехов по-настоящему талантлив и даже самая неудачная его вещь все же лучше обыкновенного осколочного материала.

Часто Чехов, посылая в «Осколки» рассказ, предупреждал, что сам этим рассказом недоволен и потому не будет в обиде, если его забракуют. В этих случаях Лейкин отвечал с добродушной свисходительностью:

— Это ничего... Печь тоже разные хлеба печет.

И помещал чеховский рассказ в ближайшем номере «Осколков».

Он охотно прощал любую неудачу, если только убеждался в добросовестном желании автора быть юмористичным.

Но если Лейкин замечал, что автор не только не старается быть юмористичным, а наоборот, ударяется за чем-то в серьез, — тогда он сразу менял тон и холодно сообщал об отказе.

Лейкин находил «Смерть чиновника» прелестным рассказом, но не потому, что в этом рассказе Чехов поднялся до настоящей сатиры на российское подхалимство, а потому, что

очень забавной показалась ему история об экзекуторе Червякове, чихнувшем на статского советника Бризжалова.

В «Смерти чиновника» сатира не заслонила чистого юмора, рассказ мог быть выдан за смешной анекдот.

Когда же Чехов послал в «Осколки» рассказ об утере Пришибеева, Лейкин поморщился: нет, Антоша Чехонте решительно начинает грусть не туда, куда нужно, «Осколки» не какие-нибудь «Отечественные записки». Да и не в одних «Осколках» дело, не вытанцовываются у Чехова рассказы на гражданские темы, напрасно тянется он за Шедриным...

Лейкин ответил Чехову, что рассказ об утере Пришибеева совсем не удался: длинен и сух.

Рассказ следовало, собственно говоря, вернуть автору.

Но так как Лейкин любил Чехова и не хотел его огорчать, он решил все же рассказ напечатать, только сильно сократив его. Уж если не смешно и сухо, то пусть сухота будет покороче. Среди разных юмористических мелочешек может как-нибудь пройти.

К счастью, цензура запретила «Осколкам» печатать этот рассказ.

Лейкин был в глубине души доволен: он мог вернуть рассказ, не портя отношений с Чеховым.

3

Лейкин очень любил напоминать о программе своего журнала.

Эта программа заключалась в немногих простых правилах: давать читателю юмор, только юмор и всегда юмор; писать коротко, как можно короче, не только потому, что в журнале мало места, а еще и потому, что длинное само по себе выглядит похожим на серьезное; писать к сезону, потому что дорого яичко к христову дню; салде подпускать осторожно, так как подписчик «Осколков» — большей частью человек семейный, имеет жену и дочерей...

И Лейкин добивался, чтобы Чехов от этой программы не отступал.

Юмор, только юмор и всегда юмор... Лейкин забраковал рассказ «В Москве на Трубе». Конечно, смешно, что за-

всегда и Трубы называют учителя гимназии, любителя старых книг и хороших голубей, «вашим местоимением», смешна и эта фраза: «заяц, ежели его бить, спички может зажигать», но в целом рассказ совсем не похож на юмористический, от него исходит даже какая-то неясная грусть, а это совсем уж нехорошо, особенно в конце года, когда журналу следует припорошиться, показать товар лицом, внушить своим читателям желание возобновить подписку на следующий год... Здесь легонькими описаниями не возьмешь, здесь нужна не этнография, а настоящее остроумие, выверт...

Писать коротко... Чехов старался уложиться в семьдесят-восемьдесят строк, выбрасывал, комкал, сокращал, приучаясь писать так, чтобы в рассказе были только начало и конец.

Из рассказа «Экзамен на чин» Чехов выбросил самую суть экзамена — вопросы экзаминаторов и ответы почтового приемщика Федрикова. Выбросил, сознавая, что портит рассказ.

Писать к сезону...

Когда наступала весна, Лейкин напоминал Чехову о том, что пора уже «строчить весенние штучки».

— Заведите шарманку о московских дачах, — просил он Чехова.

Но Чехов все же нарушал планы Лейкина и присылал изгода рассказы совсем не по сезону. Тогда Лейкин прятал их в ящик письменного стола.

Рассказ «Трагик поневоле» Чехов написал летом. Лейкин держал его у себя, пока не начался театральный сезон.

И сам Чехов, боясь, что тот или иной рассказ почему-нибудь не понравится, соблазнял Лейкина тем, что рассказ, может быть, и слаб, но зато сезонен.

Не допускать откровенной сальности... Под этим предлогом Лейкин забраковал не один чеховский рассказ. От этих отвергнутых рассказов сохранились в архивах одни только названия — да и то не во всех случаях. Навсегда оказалась потерянной «Княжна Ярыгина» и «Пошеховские рассказы».

Упрекать за это Лейкина как будто нельзя.

Но Лейкин понимал под непристойностью не то, что своей грубостью унижает, а только то, что не принято изображать.

Антоша Чехонте мог подчас острить плоско, натянуто, однако никогда не опускался он до торговли своим человеческим достоинством.

Лейкину не приходило в голову, что грубо раскрашенный рисунок с изображением женщины, в цилиндре и в одних панталонах удающей рыбу, — непристойность; такого рода рисунки появлялись в юмористических журналах из года в год в летние месяцы. Но если в рассказе описывалось нечто такое, о чем в семейных домах не принято говорить вслух, Лейкин рассказ браковал.

Чехов написал рассказ о том, как в веселом заведении мадам Дуду поручик сталкивается с военным писарем из своей канцелярии. Рассказ вышел правдивым и жестким, и в этой правдивости и жесткости — целомудренным.

Чехов описывал заведение мадам Дуду: запах глициринового мыла, пизинно с порванными нотами, пятаю на полу от пролитого ликера, блондинка в яркожелтом капоте, — и читателем овладевала мысль о чем-то нестерпимо жалком. Брезгливость возбуждал к себе офицер, оскорбленный тем, что подчиненный ему писарь посещает то же самое веселое заведение, что и он, поручик Стрекачев, и эту же брезгливость возбуждал к себе и писарь, по-рабын заискивающий перед своим начальством и подкупающий его стаканом шипучки...

Свой рассказ Чехов назвал «Вороний».

«— Кто я? Нешто я человек? Я ворона! Потомственный почетный гражданин... Ворона ты, а не гра... гражданин».

Так, опьянев, передразнивал себя писарь.

Рассказ Чехова мог показаться смелым, но смелость его была не чем иным, как новой, непривычной в литературе жизненностью.

Лейкин прочел «Ворону» и понял только то, что Чехов не удержался и сочинил похабный рассказ.

Чтобы спасти этот рассказ для «Осколков», Лейкин выбросил все, что показалось ему слишком резким. Он послал рассказ в типографию со щемлимым сердцем.

Ему не хотелось загрязнять свой семейный журнал.

Зато другой рассказ Чехова — «Добрый немец» — Лейкин напечатал с восторгом.

Старший мастер завода Функ и К^о Изаид Карлович Швей, вернувшись вечером домой из поездки по делам службы, увидал, что в спальне его место занято каким-то громадным мужчиной с большой рыжей головой и с длинными усами.

В рассказе скромно указывалось, что этот мужчина спал на отдельной кровати. Кроме того, в конце концов выяснялось, что Швей ошибся: его жена снала спальню жильцам.

«Доброго немца» Лейкин считал лучшим рассказом Чехова, потому что художество Лейкин понимал прежде всего как умение делать вещи, похожие на другие, давно уже существующие.

С рассказами Чехова Лейкин обращался так, как обращался он со всяким другим журнальным материалом: сокращал не только тогда, когда рассказ казался ему длинным, но и тогда, когда ему хотелось вставить в номер залежавшийся рисунок или остроты о старых девах или молодящихся тещах; вставлял сочиненные им самим фразы, заявляя, что без этих вставок рассказ не был бы пропущен цензурой; приписывал новые концы, для того чтобы «усилить впечатление».

4

Рассказы Антоши Чехонте в «Осколках» имели успех. В Петербурге Антошу Чехонте называли самым талантливым из пишущих по смежной части.

Так как Чехову было всего двадцать пять лет, его успех не очень беспокоил Лейкина: по мнению Лейкина, расстояние между ним, известным писателем, редактором, миллионером, и начинающим юмористом, молодым медиком Чеховым — слишком велико.

Лейкин решил, что есть расчет пла-

тить Антоше Чехонте на две-три копейки за строку больше, чем платили московские издатели. Есть также расчет выдавать Антоше Чехонте авансы — пятьдесят, даже сто рублей.

Решил так, Лейкин считал уже Чехова человеком, нравственно обязанным работать для «Осколков», прежде всего для «Осколков».

Непрерывно получал Чехов от Лейкина заказы.

«Слезно молю о высылке вновь разных литературных «разностей»...

«Буду печатать ваши рассказы по шутке»...

«Рассказов на затычку» — присылайте время от времени. Они должны быть на 50, 60, 70 строк»...

«К лету заведите дачную шарманку»...

Чехов писал и шутные рассказы, и рассказы на затычку, и рассказы к сезону, и разные литературные разности.

Однако, как ни загружал Лейкин Чехова, чеховские рассказы неперестанно появлялись и в других юмористических журналах, и в «Будильнике», и в «Развлечениях», и в «Стрекозе», и в «Сверчке».

Лейкин еще терпел, когда в этих журналах появлялись те рассказы, что были им забракованы для «Осколков». Это право автора — как-нибудь возмещать себе понесенный убыток. Но когда в какой-нибудь «Стрекозе» Лейкин находил новый, знакомый ему рассказ Чехова, да еще откровенно подписанный: «А. Чехонте», — он чувствовал себя обманутым.

— Мне показалось, что рассказ плох и длинен, — оправдывался Чехов. — Я не думал, что рассказ достоин «Осколков».

Лейкин успокаивался до тех пор, пока опять в каком-нибудь чужом журнале не наталкивался на подпись «А. Чехонте».

Особенно уязвленным почувствовал себя Лейкин, когда увидел чеховский рассказ в первом номере нового московского журнала «Сверчок». Он написал Чехову ядовитое письмо:

— Ну-с, господин сотрудник «Сверчка», скажите мне, если не тайна, сколько вам заплатили за то, чтобы

напечатать ваш рассказ? Наверное, уж не больше двадцати рублей?

Лейкин был твердо убежден, что все дело в гонораре. Когда теперь кто-нибудь случайно заводил при нем разговор о том, что Чехов нуждается в деньгах, Лейкин хмурился и обрывал:

— Сам виноват... Разбрасывается...

Один из сотрудников «Осколков» сочинил для журнала «Девизы наших беллетристов».

О Чехове сказано было так:

«Стоит особняком».

Это не понравилось Лейкину. Он переправил:

«Стоит по-своему».

Лейкину хотелось, чтобы независимость Чехова выглядела только как упрямство.

Если бы Чехов откровенно признался ему, что печатается в других журналах, ибо хочет быть не сотрудником «Осколков», а литератором, то есть прежде всего человеком, свободным в своем выборе, — Лейкин все равно бы не поверил, потому бы это признание как новую хитрость сотрудника, имеющего успех и поэтому опять добивающегося повышения построчной платы.

Но в конце концов Лейкин убедился, что Чехов в некоторых вопросах очень упрям. Он понял, что есть вопросы, в которых деньги для Чехова роли не играют.

От своего права печататься где угодно Чехов не собирався отказываться, и с этим родом чеховского упрямства приходилось в конце концов мириться.

Через несколько лет на это упрямство наткнулся человек сильнее и прощательнее Лейкина — и также не смог его преодолеть. Своей свободы Антоша Чехонте не продавал.

Глава седьмая

1

После лекций профессора Захарьина, особенно интересных и увлекательных, мысль о том, что обязательно надо в ближайшие дни написать фельетон для «Осколков», была Чехову неприятна.

Университетские учителя приучали Чехова к внимательному изучению каждого отдельного медицинского случая.

В своих «Клинических лекциях» Захарьин писал:

«Чтобы предотвратить впадение в рутину, преподаватель должен указывать на все особенности встречающихся случаев — индивидуализировать».

Заполняя в клиниках скорбные листы, Чехов словно делал отметки в свою записную книжку, собирал материал для описания своих будущих героев.

«Большая, — записывал Чехов один из случаев, — родилась в Фирсановском уезде, Тамбовской губ. (родину она оставила десять лет назад).

Отец умер от горячки...

22 лет вышла замуж. Детей у нее было семеро, из которых пятеро умерло.

Большая жила до поступления в больницу на Сretenке, в Головином пер. Занимала она с дочерью квартиру в 2 комнаты с кухней в двухэтажном каменном доме, сначала в верхнем этаже, потом нижнем. Квартира теплая, несколько сырая. Комнаты светлые, потолки высокие. Ретирадное место в сенях, холодное.

Большая пила чай 2—3 раза в день. Обедала каждый день, и обед состоял из супа и иногда жаркого. Не ужинала. Не курила и спиртных напитков не употребляла. Спала 9—10 часов в сутки...

Сведения эти в медицине называются *anamnesis'om*.

Очень легко представить себе эту больную воспалением легких крестьянку Анию Яковлевну, шестидесяти одного года, персонажем рассказа Чехова о жизни в московских переулках...

2

Университетский курс был закончен. Врач звенигородской больницы попросил Чехова заменить его на несколько недель.

Чехов согласился и приехал в Звенигород.

Когда после утомительного приема больных Чехов приходил домой, он чувствовал себя одиноким.

Вспоминались лица больных баб и стариков, — они стояли перед фельдшером, как перед важным начальством, и от испуга не сразу отвечали на вопросы.

Из окна докторской квартиры виден был давно заросший крепостной вал, дом исправника, безлюдная улица...

Чехов представлял себя живущим в Звенигороде уже десять лет.

Конечно, он следил бы за своей наукой и стал бы заниматься самостоятельными исследованиями. Он выписал бы медицинские журналы, может быть купил бы микроскоп — ведь микроскопия начинает играть такую громадную роль в медицине! Работа земского врача даст громадный материал для специального труда. Потом его мысль снова возвращалась к Москве. Как, в конце концов, ума и деятельности жизнь в больших городах! Москва — прекраснейшее место на свете. И чем больше Чехов думал о ней, тем яснее ему становилось, что книги, микроскоп, научные исследования — все это возможно, пока у человека сохраняется свежесть чувства и необходимая гордость своим существованием.

Но надолго ли может сохраниться у человека эта гордость, если он вынужден видеть в окно этот дом исправника, слышать хрюканье пороосенка на заднем крыльце, страдать от вони уборной, непрестанно, каждую минуту чувствовать оскорбленным свой инстинкт изящного?

Нарывы, поносы, глисты, грязь, невежество, плохое пиво, дешевая трактирная ветчина — это и заполняет жизнь земского врача, светлой личности, о которой очень хорошие люди, никогда не видевшие ни одной земской больницы, пишут идеальные повести.

Мужество человека, способного на истинно героические поступки, питается сознанием силы и значения противника, большим и неоспоримым смыслом борьбы. Но изо дня в день, из года в год борются за то, чтобы фельдшер не явился на работу нетрезвым, чтобы больные мужики не совали ему пятаки, чтобы в приемном покое не пахло уборной — на это не хватит никакого героизма.

Конечно, он через полгода забросит и книги, и микроскоп, после обеда будет спать, накрывши лицо носовым платком, и, оставаясь холостым для того, чтобы сохранить свое столичное будущее, усвоит привычку одинаково презрительно говорить и о женщинах, и о столицах.

И все же, когда в больницу вернулся постоянный врач, Чехов обрадовался его приезду меньше, чем ожидал...

Он почувствовал свою работу в больнице очень нужной для себя самого. Осмотр каждого больного подсказывал Чехову сюжет для рассказа.

Сюжетов было так много, что Чехову хотелось звать кого-нибудь на подмогу.

Он написал Лейкину, чтобы тот приехал в Звенигород: масса беллетристического материала, посещение больницы — готовый рассказ в триста строк.

Правда, многое, что видел и слышал Чехов в Чикине и здесь, в звенигородской больнице, представлялось ему мало подходящим для юмористического писателя.

Некоторые случаи Чехов решил не описывать.

Но решив не описывать — все же садился за стол и описывал.

Так было, когда Чехову пришлось вместе с судебным следователем поехать на вскрытие.

В поле, под темной листвой дуба, лежал труп в красной рубашке. Рядом с ним толпа встревоженных мужиков, плачущая вдова, понятые, десятский с бляхой...

Убитый — фабричный, шел из трактира. Кто преступник и зачем он убил этого человека в красной рубашке — неизвестно. Судебно-медицинское вскрытие, произведенное врачом Чеховым, установило только то, что у фабричного переломано двадцать ребер и что его убили, надавив на грудь чем-то тяжелым.

Таинственные обстоятельства преступления — отличный сюжет для рассказа.

Но к нему Чехов остался равнодушным.

Больше всего ему запомнилось другое: двое мужиков, которые всю

ночь просидели около трупa сторожа-ми — до прибытия начальства.

Что должны были испытывать эти двое, о чем думали они и говорили всю ночь, сидя у костра?

Что должен был почувствовать прохаживавший человек, когда он, обрадовавшись костру и людям, вдруг заметал возле них мертвое тело, одетое в красную рубаху?

Глухие проселки, ночные путники, люди у костров, не спящие всю ночь, скучные городки, затерянные среди полей и лесов, плачущие бабы, равнодушные чиновники, для которых мертвое тело — только протокол, что придется переписывать начисто, — все это очень не похоже на «Будильник» и «Осколки», но, видимо, очень похоже на русскую жизнь.

Со вскрытия Чехов вернулся взволнованным.

Ему хотелось описать все, что он увидел.

Но сочинять юмористический рассказ не было настроения.

Он сел за стол и написал длинное письмо Лейкину, в котором рассказал о трупe, следователе, двух молчащих ночных сторожах, погасшем костре, проселочной дороге.

Но письма было недостаточно.

Чехов рассказал Лейкину только то, что видел. Между тем то, чего Чехов не видел, но что он угадывал, казалось ему самым важным.

Это важное заставило Чехова написать рассказ. Он назвал его «Мертвое тело».

Двое сидят ночью возле трупa. Один — молодой крестьянский парень, другой — мужичонко со старческим лицом.

Они говорят о том, как страшно было бы одному остаться стеречь труп, о том, что время идет к осени — зори стали холодные, а птицам уже время лететь в теплые края.

Двух своих мужиков Чехов окружил ночной природой: освещенное луной поле, молодой дуб, нечаянные шумы ночного леса.

Весело острить можно над антрепренерами, надворными советниками, дачниками, актерами, — но нельзя острить над людьми, чья жизнь до краев за-

полнена нищетой и унижением, сплошь состоит в выполнении различных повинностей, таких же тягостных и неприглядных, как сидение ночью подле трупa в ожидании начальства.

Слова рассказа звучали какой-то незнакомой чистотой и строгостью, похожей на теплоту, но заслуживающей все же иного названия. Вероятно, эту теплоту следовало называть поэзией.

Когда рассказ не совсем подходил под юмористический, редакции брали его у Антоши Чехонте не как рассказ, а как «сценку». Сценка могла быть всякой — это уж зависит от того, на что натолкнется автор. Нельзя же от репортера требовать только свадеб и бракосъезда у него пожары.

Все же Чехов сам сознавал, что слишком часто нарушает правила юмористических журналов.

«Мертвое тело» он послал не в «Осколки», а в «Петербургскую газету».

В газете, вероятно, пожалели, что А. Чехонте не прислал своевременно корреспонденцию о таинственном убийстве мастерового, но рассказ напечатал, найдя, что он вполне подходит под рубрику «Летучие заметки».

3

«Она говорит, что Болеслав Маркевич лучше Тургенева. Но ведь подобные вещи мужчины не говорят даже в шутку».

Из записных книжек Чехова.

Во флигеле бабкинского дома жил Болеслав Маркевич, известный беллетрист.

Чехов познакомился с Маркевичем. Одетый весь в белое, высокий и седой, он напоминал командора из «Дон-Жуана».

В Бабинке Маркевич писал новый роман под названием «Бездна».

В этом романе Маркевич описывал своих хороших знакомых, а так как, описывая их, ему было очень трудно удержаться от того, чтобы не сказать, какие все они, в сущности, свиньи, — работа над «Бездной» сильно утомляла романиста.

Чехов уже раньше читал книжки Маркевича. В них всегда действовали очень красивые графини, иностранные

дипломаты, владельцы больших поместий, предводители дворянства. Герои Маркевича или хлопотали о наследстве, или, по совету врачей, ехали на воды.

«Московские ведомости» называли Маркевича идейным и маститым, о каждом его новом произведении печатали большие анонсы.

Когда в присутствии Маркевича заходила беседа о литературе, нельзя было называть ни Тургенева, ни Гончарова, ни Достоевского, ни Льва Толстого; Маркевич знал их лично и говорил о них только как о людях, знакомых с ним, Болеславом Маркевичем.

Восхищение этими писателями раздражало Маркевича, а брань по их адресу его не успокаивала: Маркевич готов был заподозрить собеседников в том, что они бранят Тургенева и Толстого только для того, чтобы не хвалить Маркевича.

В конце концов он, писавший в своих романах только о знакомых, хотел, чтобы знакомые говорили только о нем.

Постоянная зависть совсем разрушила здоровье этого старого человека, имевшего чин камер-юнкера, но эта же зависть мешала ему вспомнить о том, что на свете существует такая простая вещь, как смерть.

Заключив свой роман, Маркевич собрался в Москву. На прощание он со снисходительным видом подарил Чехову книгу своих сочинений.

Как любят бездарности притворяться первосвященниками!

4

В рассказе «Дачница» Чехов описал далекое поле и клочковатые облака над ним, речку, луну, темнеющую вдаль железнодорожную платформу.

Это было одно из первых изображений Чеховым русской природы. Чехову не хватало подробностей и красок. Русскую природу он узнавал на дачах по воскресным дням.

Подмосковный пейзаж смешивался у Чехова с воспоминаниями о степи. В «Дачнице» между речкой и полем Чехов поместил курган.

Летняя природа нужна была Чехову

для того, чтобы рассказ выглядел написанным к дачному сезону. Иначе в редакциях начинался обидный разговор о том, что сотрудники подсовывают журналу старый, давно залежавшийся материал.

Самому Чехову казалось, что рассказы о московских обывателях отлично могут обходиться без пейзажа, даже в том случае, если действующие лица выезжают из города на лоно природы.

Белый цвет черемухи, крик коростеля, зеленые ветви ивняка — какое это имеет отношение к случаям из жизни бакалейных торговцев, статских советников и докторов?

Только тогда, когда Чехов писал рассказ из народной жизни, как-то само собой получалось, что появлялся пейзаж.

Чехов заметил, что даже многие талантливые беллетристы пишут о природе безлично. В изображении людей, их разговоров и поступков вы чувствуете автора, его смелость. Но как только дело доходит до природы, начинаются литературные фразы, длинные, безразличные, словно природа — высокое начальство, которое следует не описывать, а только именовать по принятой форме.

Чехова нисколько не отесняло требование редакций, чтобы пейзажи в рассказах были тоже юмористическими.

Юмористические пейзажи получались у Чехова немного развязными, зато юмористичность избавляла от гладких фраз о щебетании птичек и утренняя небе, на котором «ни облачка».

Все что угодно, только не гладкости!

Описывая в рассказе «Верб» почтовый тракт, Чехов сравнил старую мельницу на берегу речки Козьявки с маленькой сгорбленной старушонкой, готовой свалиться каждую минуту. Старушонка давно бы и свалилась, если бы она не облокачивалась на вербу.

Это сравнение показалось Чехову удачным.

Вскоре после «Вербы» он написал рассказ «Приданое».

Маленький домик в три окна Чехов

опять сравнил с горбатой старушкой в чепце.

Теперь, в Бабкине, Чехову хотелось описывать природу уже не так бегло.

В рассказе «Ведьма» Чехов описывал метель так:

«...В поле была сушая война. Трудно было понять, кто кого сживал со света и ради чьей гибели заварилась в природе каша, но судя по неумолкаемому, зловещему гулу, кому-то приходилось очень круто».

Пейзаж как будто дан юмористический.

Но за развязностью журнального юмориста скрывалась непринужденность лирика. И эта непринужденность, освободившаяся от развязности, вела Чехова к пейзажному искусству «Степи».

Так же как Чехову представлялось невозможным превращать двух мужиков, что сторожили мертвое тело, в персонажей юмористического рассказа, так же теперь представлялось ему все менее возможным писать юмористически о природе, потому что среди этой природы жил народ. Пейзажи вокруг Бабкина незаметно превращались в картины истории — картины битв, переселений, тяжелого труда, словно эти поля, реки и леса сохранили живую память истории, запечатлели ее в своих красках и очертаниях.

Быть может, каждый рассказ должен заключать в себе эту глубоко запытанную память о прошлом, если он написан не только для погашения взятого в «Осколках» аванса.

Однажды, когда молодость уже миновала, и бабкинские дни давно уже отодвинулись в прошлое, Левитан написал Чехову:

«...Я внимательно прочел еще раз твои «Пестрые рассказы» и «В сумерках», и ты порастил меня как пейзажист. Я не говорю о массе очень интересных мыслей, но пейзажи в них — это верх совершенства, например: в рассказе «Счастье» картины степи, курганов, овец поразительны».

5

Как и в предыдущие годы, Чехов писал по несколько рассказов в неделю.

Но два-три года назад большая часть рассказов придумывалась мгновенно, и такие рассказы приходилось не писать, а только записывать. На это уходило времени не больше, чем на сочинение веселого письма кому-нибудь из приятелей.

Нужно было придумать только новый поворот избитой темы. Пожалуй, избитость темы являлась даже преимуществом в обращении со старым материалом, легче бросался в глаза изобретательность, с которой юморист придумывал необходимый новый поворот.

В работе над мелочишками воображение почти не участвовало. Автор видел перед собой не картины жизни, а журнальные полосы — название отдела, количество строк, иллюстрации, шрифт. Он вспоминал не о том, что наблюдал и пережил, а о том, что читал у других юмористических авторов.

Следовало избегать явных заимствований. Что же касается подражания, то здесь можно было отбросить осторожность, потому что подражание одному из юмористических авторов счастливым образом превращалось в подражание им всем, то есть опять-таки никому...

Теперь, садясь за рассказ, Чехов чувствовал себя одиноким, опирающимся только на нечто очень личное. Воспоминания о чужих писаниях уже мешали верной и незаметной работе воображения. Мысли о редакции, типографии и коллегах, еще недавно сильнее всего подстегивавшие изобретательность Чехова, теперь сковывали его, и он учился писать, охраняя себя от этих мыслей.

Раньше Чехов был плодовитым журнальным сотрудником, который боялся исчерпать свою изобретательность, очень зависимую от изобретательности его товарищей по ремеслу.

Теперь Чехов боялся исчерпать не свою профессиональную ловкость, а воспоминания, имеющие отношение ко множеству чужих существований, но обязанные, в конце концов, только собственной и бескорыстно, не для литературы, прожитой жизни.

Отдаваясь литературе, Чехов как будто прекращал течение своей лич-

ной жизни. Были минуты, когда ему, молодому человеку двадцати пяти лет, казалось, что он живет уже паразитически за счет своего прошлого. Где-то совсем близко, на пороге 1886 года, прошла граница между незаметным накоплением и торопливой растратой. Но была ли это растрата?

Еще недавно каждая нбвая, написанная Чеховым на заказ мелочишка в самом деле погашала один возможный поворот темы. Но теперь каждый вновь написанный рассказ сам по себе рождал в Чехове ощущение удвоенных сил, открывал доступ к новым наблюдениям жизни. Тратя, Чехов чувствовал себя теперь богатеющим, а не беднеющим.

Секретарь редакции «Осколков» Билибин написал Чехову, что радуется его успехам — но не завидует, ибо понимает, как тяжело сочинять не меньше трех рассказов в неделю.

Замечание Билибина кольнуло Чехова.

Чехову показалось, что Билибин попрежнему принимает его только за журналиста по юмористической части.

Очевидно, Билибин не понимал, что Чехов находится теперь в том состоянии истинного вдохновения, когда труднее писать в неделю только два рассказа, а не три.

Глава восьмая

I

В русской литературе были «Медный всадник», «Невский проспект», «Белые ночи», «Петербургские шарманщики».

Но кто станет воспевать Балчуг и Варварку, площади, на которых торгуют сеном или старой мебелью, переулки, поросшие травой, словно заглушенные проселки?

С гордостью узнавал Чехов о том, что его в Петербурге знают гораздо больше, чем в Москве.

В Москве Чехов оставался все тем же Антошей Чехонте, «сотрудником печати». Он писал рассказ, редакция уплачивала восемь или десять рублей, знакомые читали рассказ и хвалили его, — вот, в конце концов, и все.

Разговор о литературе с товарищами по редакциям всегда сводился к разговору о редакторах, гонорарах, рецензиях, чужих успехах и неудачах и напоминал разговор о какой-то службе — о начальниках, жалованье, прибавках и выговорах. Друзей, способных поговорить не о литературе, похожей на службу, а о литературе, похожей на искусство, не было.

С дядей Гиляем хорошо пойти в цирк или в трактир, но невозможно говорить об искусстве с человеком, который Василия Немировича-Данченко ставит выше Гаршина потому, что, побывав на войне, Гаршин не описал генерала Скобелева, а Немирович-Данченко его описал.

Были минуты, когда Чехов чувствовал себя совсем одиноким; он утешал себя тем, что в Москве писатель и должен чувствовать себя одиноким, так как литературы здесь нет.

Почти все известные писатели, которых упомянул Чехов в своей юмореске «Литературная табель о рангах», жили в Петербурге: Щедрин, Григорович, Лесков, Гаршин, Глеб Успенский, Плещеев, Горбунов...

Если от него чего-нибудь ждали, то лишь нового юмористического рассказа в ближайшем номере «Будильника» или «Стрекозы». Ожидая от Антоши Чехонте, ничего не ждали от Антоши Чехова.

В Москве были редакции и знакомые, в Петербурге была литература. И Чехов чувствовал, что Петербург ждет от него чего-то совсем нового, серьезного, значительного.

Это и радовало Чехова, и пугало его. Когда он начинал представлять себе редакции, где сидят писатели, чьи портреты известны даже Митрофану Егорычу, потому что они помещены в толстом альбоме «Современные деятели» рядом с генералами и архиереями, — становилось немного страшно за свои рассказы.

Московские знакомые с удовольствием читают их после обеда на диване или вечером на дачной веранде, но нужны ли эти рассказы петербургским людям, сильным талантом, влиянием, богатством? Чиновный город своею холодностью склонял к преуве-

личениям. Преувеличенность была и у Гоголя, и у Достоевского, и у Некрасова, она есть и у живущего теперь в Петербурге Щедрина — жгучая преувеличенность воображения и чувства, слишком озабоченных очень важной правдой, чтобы заботиться о гораздо менее важной скромности...

Московским знакомым рассказы Чехова нравятся, между прочим, потому, что чтение часто презращается в угадывание самих себя — угадывание милое, не очень тревожное. Петербургским литераторам, журналистам, издателям, сановникам угадывать в чеховских рассказах нечего: слишком здесь все московское.

2

Чехов поехал в Петербург — впервые в жизни.

Может быть, выйдя на площадь перед вокзалом, Чехов на мгновение вспомнил, как еще гимназистом он приехал в Москву, как по дороге от Земляного вала на Трубу он всматривался в чужие улицы и здания, и как его охватывало неясное ощущение внезапно найденной родины — грязной, равнодушной и страшно нужной.

Теперь он снова стоял перед незнакомой столицей, но совсем не ощущал себя провинциальным молодым человеком, ожидающим, что в столице все решится...

И с чувством легкой самонадеянности, точнее — доверия к жизни, прогулялся Чехов по Невскому, зашел в ближайшие меблированные номера, оглядел скучную комнату.

В своих рассказах Чехов уже не раз упоминал Невский, «Аркадию» и другие петербургские места. С этими подробностями рассказ мог скорее подойти для «Осколков»: Лейкину хотелось, чтобы журнал был столичным во всех своих частях... Иногда, боясь спутать плохо известные ему петербургские названия, Чехов делал в рукописи небольшие пропуски, прося самого Лейкина их заполнить. Еще недавно Чехову это казалось совершенно естественным, и если он иногда все же избегал этого, то только по-

тому, что боялся, как бы Лейкин, кроме названий улиц, не вставил бы еще чего-нибудь от себя. Теперь же, когда Чехов смотрел из окна номера на Петербург, фокусы, при помощи которых он придавал петербургский колорит своим рассказам, казались ему немного похожими на подлог.

3

В редакции «Осколков» говорили о рисунке для обложки рождественского номера, обвиняли какого-то сотрудника в том, что он позаимствовал остроту из другого журнала, придумывали смешное объявление о возобновлении подписки на следующий год.

От этих разговоров пахло чем-то уже надоевшим. Такие же точно разговоры слышал Чехов и в московских редакциях, слышал их в прошлом году, пять лет назад...

В чужом городе совсем не хотелось проводить день в разговорах о плохо раскрашенных рисунках, устаревших остротах и недостаточных гонорарах.

Чехов поехал к Билибину. Хотя Билибин служил секретарем в «Осколках», однако он совсем не напоминал тех журнальных людей, которые вне редакции и вне привычных редакционных интересов и разговоров чувствуют себя как-то неестественно и напоминают воснивших, переодетых в штатское.

Из всех товарищей по юмористическому ремеслу Билибин, пожалуй, был единственным человеком, с которым Чехову хотелось поговорить о литературе. Когда Билибин критиковал чеховские рассказы, Чехов в этих суждениях угадывал нечто большее, чем отзыв человека, обязанного по должности секретаря редакции сообщать автору, принят ли его рассказ. В этой критике чувствовался литератор, любящий искусство умной любовью.

Билибин очень хорошо умел извлекать из действительности интересные факты, но, видимо, совсем не умел распорядиться этими фактами как писатель.

Фельетоны Билибина отличались тем, что в них никогда не было ни подлости мысли, ни подлости тона. Совершенно очевидно, что писал их

вполне порядочный и вполне литературный человек. Но в этой порядочности и литературности вместе с тем заключалось нечто бесцветное и безличное. Казалось, что источником порядочности и литературности билибинских фельетонов является робость автора, одинаково лишенного и высокой смелости художника и низменной смелости газетных писак.

По фельетонам Билибина совершенно нельзя было догадаться о том богатстве жизненных наблюдений, которым обладал их автор. Для литераторов, нуждающихся в теме, дружба с Билибиным была драгоценной.

В письмах к Билибину Чехов не раз сетовал на отсутствие тем. И Билибин охотно делился с Чеховым литературными идеями.

Казалось, Билибин выполнял в данном случае обязанности секретаря редакции «Осколков». Журнал нуждался в рассказах, а так как Антоша Чехонте все еще жаловался на отсутствие тем, то секретарь редакции и предлагал ему темы.

Но делился Билибин с Чеховым не только как секретарь «Осколков» с сотрудником этого журнала.

Может быть, раньше многих угадав в Чехове огромный, побеждающий талант, Билибин почувствовал, что относиться к Чехову, как к сопернику по юмористическому ремеслу, не нужно и невозможно.

Билибин словно безотчетно понимал, что дать Чехову тему хотя бы одного рассказа — это уже значит оправдать смысл своего незаметного литературного существования и навсегда сохранить свое имя в памяти тех, кому не безразлична русская литература.

На билибинские темы Чехов написал несколько рассказов.

Билибин предлагал Чехову тему: «Психология ребенка маленького (2—3—4 лет)», — и Чехов воспользовался ею, написав рассказ «Гриша».

В другой раз Билибин предложил Чехову такую тему:

«Изобразить порядочного человека, но забитого, который пришел у приятеля денег в долг просить. Кажется, что тут стыдного? А у него язык не поворачивается, и он все о другом за-

говаривает, так и ушел, не попросивши».

Через месяц в «Осколках» появился рассказ Чехова «Немпожко боли» (позже Чехов назвал рассказ иначе — «Знакомый мужчина»).

«Прелестнейшая Ванда, или как она называлась в паспорте, почетная гражданка Настасья Канавкина, выпысавшись из больницы, очутилась в положении, в каком она раньше никогда не бывала: без приюта и без копейки денег. Как быть?»

«...К кому бы сходить? — размышляла она. — К Мише нельзя — семейный... Рыжий старик теперь на службе...»

Ванда вспомнила о зубном враче Финкеле, который месяца три назад подарил ей браслет, и которому она однажды за ужином в немецком клубе вылила на голову стакан пива. Вспомнив про этого Финкеля, она ужасно обрадовалась.

«Он наверное даст, лишь бы только мне дома его застать», — думала она, идя к нему».

Это был рассказ на билибинскую тему, лишь немного измененную: «порядочного человека» заменила выпысавшаяся из больницы проститутка Настасья Канавкина, она же Ванда.

Билибин рассказывал, что переживал он, впервые выступая в суде в качестве помощника присяжного поверенного, и Чехов, запомнив эту исповедь, написал «Первый дебют», рассказ о помощнике присяжного поверенного Пятеркине, ездившем в уездный город защищать лавочника, обвинявшегося в поджоге.

«...Он, Пятеркин, казалось ему, вел себя на суде невозможно: заикался, путался в вопросах, вставал перед свидетелями, глупо краснел. Язык его совсем не слушался и в простой речи спотыкался, как в скороговорках. Речь свою говорил он вяло, словно в тумане, глядя через головы присяжных. Говорил, и все время казалось ему, что присяжные глядят на него насмешливо, презрительно».

Напряжение первого дебюта оказывается слишком большим. Когда на ночьле в пути Пятеркин сталкивается со своими «врагами» — товарищем прокурора и гражданским истцом, —

он не выдерживает. Он плачет, подобно тому, как плачет герой рассказа «Гриша», — ибо ведь и трехлетний Гриша пережил свой «первый дебют»...

Когда «Первый дебют» был напечатан, Билибин узнал свою тему:

«Вы, кажется, с моих слов написали в «Петербургской газете» очерк насчет помощника присяжного поверенного. Одобряю, хотя краски немножко густы: таких наивных теперь мало».

Темы Билибина отличались от тем, которые до сих пор навязывали Чехову в редакциях. Казалось, в них совсем не было изобретения, не было главного — случая, анекдота, столь ценного редакторами юмористических журналов.

Но в них было нечто гораздо более важное, привлекательное, правдивое: «Муж тряпка — изобразить в симпатичном свете — он тряпка, потому без ума любит жену».

Она немного презирает, иногда прилив нежности. Но ей нужно другое: узда. И она ее находит».

«Молодой начальник (из правоведов), только что назначенный, боится своего подчиненного — крысу, проевшего зубы на бумагах, и думает во время доклада, что подчиненный над ним все время смеется».

Когда Чехов получал письма с этими темами, ему казалось, что в редакции «Осколков» сидит человек, немного равнодушный к юмористическому ремеслу и совсем не равнодушный к литературе.

«Он тряпка, потому без ума любит жену». Это слегка напоминало любовь Шарля в романе «Госпожа Бовари», недавно прочитанном Чеховым.

Редакционные темы никогда еще не напоминали Чехову о больших писателях.

Чехов складывал письма Билибина с мыслью о том, что будет их перечитывать не из одного желания вспомнить о своей дружбе с секретарем Лейкина.

Но когда Чехов в дни приезда в Петербург сидел с Билибиным в сумрачной квартире, он думал уже не об уме, вкусе и безусловной порядочности Билибина, а о бездарности петербургской жизни, заставляющей селить-

ся в угрюмых и холодных домах, обставлять свою рабочую комнату обязательно так, чтобы она была похожа на кабинет важного чиновника, загромождать прихожую золоченым трюмо, чай подавать на особом маленьком столике, брать в жены только очень умных женщин...

Во всем этом ощущалась какая-то робость, сухая робость, губительная для таланта.

4

Впрочем, он поехал в Петербург с одной только целью — посетить Суворина.

Чехов запомнил, что несколько лет назад суворинская газета протестовала против повешения народовольцев, убивших царя: газета требовала, чтобы царевичи были не повешены, а четвергованы. Запомнил, — но об этом как-то мало раздумывал.

Незадолго до знакомства Чехова с Сувориным в «Вестнике Европы» появилось письмо из Парижа, в котором описывалась жизнь Золя в его доме в Медане. Корреспондент подчеркивал, между прочим, полное равнодушие Золя и членов его кружка к «оттенкам журнализма».

«Некоторые из них писали в реакционных газетах и не стыдились этого, говоря, что они будут писать везде, где только позволят им быть оригинальными, не подчиняться литературной рутине. Совершенно так же поступил несколько месяцев спустя и Золя, перейдя в «Figaro».

Если Чехов прочел эту корреспонденцию, он должен был бы почувствовать удовлетворение: не он один так рассуждает!

Впрочем, Золя и его друзьям может быть и стыдно писать в каком-нибудь «Фигаро». Для него же, Антоши Чехонте, печататься в такой газете, как «Новое время», — только почетно.

Имя Суворина означало для Чехова могущество, размах, богатство. До сих пор Чехов имел дело в литературе только с людьми, которые боялись: маленькие поэты и романисты боялись критиков и редакторов, редакторы боялись критиков и цензуры, издатели

боялись цензуры и других, более богатых и ловких издателей.

Казалось, что Суворин не боялся ни цензоров, ни критиков, ни издателей. Он был твердо уверен в том, что, устанавливая сотруднику построчный гонорар, устанавливал цену человеку в русской литературе. Сравнить Суворина с добродушно-самоварным Лейкиным представлялось Чехову так же невозможным, как сравнивать какого-нибудь сочиняющего политические прожекты провинциала с государственным деятелем.

Суворину очень понравился рассказ Антоши Чехонте «Горе», напечатанный в «Петербургской газете».

Когда Суворин читал этот рассказ, ему вспомнились родные воронежские места, пьяный мужичонко, снег, зимняя дорога, земская больница — все совсем знакомое, как будто Галчинская волость, которая упоминается в рассказе, и есть его родина.

В кабинете редактора «Нового времени» Чехов увидел высокого старика, который, быстро шагая из угла в угол, говорил об искусстве и политике, как об очень личном деле, говорил, то раздражаясь, то смеясь, заглядывая Чехову в глаза и словно прося его поскорее присоединиться к этому раздражению и к этому смеху.

Суворин выписал Чехову аванс, не ставя никаких особых условий.

Литератора, имевшего до сих пор дело с Пастуховыми, Левинскими и Лейкиными, должна была покорить суворинская широта.

Антоша Чехонте не мог, да и не хотел понять, что это была широта человека, привыкшего покупать людей не торгуясь.

5

После поездки в Петербург Чехов больше уже не просил Лейкина вставать в его рассказы названия петербургских улиц и ресторанов.

У себя в номере, на углу Невского, Чехов придумал тему праздничного рассказа. Маленький чиновник, титулярный советник, крутится по столице, делая новогодние визиты. Он должен расписаться у начальства, лично по-

здравить с праздником своих богатых знакомых... Он пьет водку, кофе, рябиновку, шоколад, холодное пиво, коньяк, потому что иначе нельзя, обидятся люди... Он спешит с Офицерской на Выборгскую сторону, с Выборгской на Садовую, с Садовой на Петербургскую. В конце кснцов падает на улице без чувств. Городовой привозит его в приемный покой...

Свой рассказ Чехов назвал «Новогодними мучениями». Короткий юмористический рассказ, который Чехов писал, вероятно, час-два, не больше, — специально для новогоднего номера. Если не пойдет в «Осколках», то, пожалуй, придется ждать целый год, потому что пристроить его в каком-нибудь другом журнале будет поздно, а после нового года рассказ потеряет всякий смысл...

«—От обеда пришедши... выпил я чаю и пошел к Николаю Михайлычу... Тут, конечно, расписался... Оттуда пошел на Офицерскую... К Качалкину... Тут тоже расписался... От Качалкина на Выборгскую сходил, к Ивану Ивановичу... Расписался...»

Племянница Настя шоколадом напояла... Потом к Ляпкину зашел... Нет, вру, не к Ляпкину, а к Дарье Никодимовне... От нее уже к Ляпкину пошел... Ну-с, и везде хорошо себя чувствовал... У купца Дунькина был...»

Так рассказывает о своих новогодних визитах титулярный советник Герасим Кузьмич Сивилетеев.

Строки эти напоминали Гоголя, монолог какого-нибудь гоголевского жалкого чинуши, казались словно вставкой в «Женитьбу»...

Новогодняя мелочишка Антоши Чехонте открывала новую область — Петербург.

Через месяц Чехов написал «Тоску», через десять лет — «Рассказ неизвестного человека».

Существуют писатели, способные воспроизводить местный колорит только с помощью черт, в своей характерности слишком бесспорных для поэзии. Этим писателям удаются иногда картины, написанные густыми красками и уверенной кистью, но очень редко такие картины обладают долговечием настоящего искусства.

Местный колорит в чеховских рассказах о петербургском извозчике Ионе и петербургском савановнике Орлове едва намечен. За исключением немногих мелких и чаще деловых, чем описательных, подробностей трудно выделить в этих рассказах что-нибудь исключительно петербургское. И все же каждая строка здесь словно принадлежит Петербургу. Петербургскими кажутся дома, сумерки, фонари, вывески, снег, квартиры, настроения, разговоры, мысли... И даже роаль, стоящий в холостой квартире Орлова, издает звуки, как будто окрашенные Петербургом...

Глава девятая

1

Когда кончались летние дни, и Чехов снова оказывался в Москве, — теперь Чеховы жили на Якиманке, — он писал урывками.

Впрочем, все же очень много. Накопился целый сборник новых рассказов. Знакомые литераторы советовали назвать сборник как-нибудь посмешнее и пооригинальнее, чтобы книжка бросалась в глаза.

Чехову хотелось назвать книгу просто: «Рассказы и очерки».

Но так назвать он все же не решался, потому что столь простое название к лицу только известным и серьезным литераторам и могло быть принято за нескромность. Пришлось слегка «окрасить» название: «Пестрые рассказы».

Недавно написанный «Кошмар» — рассказ о благонамеренном и сытом петербуржце, который, приехав в деревню, увидел чудовищную нищету тех, кого принято называть сельской интеллигенцией, — Чехов в сборник не включал.

Ему казалось, что «Кошмару» не место рядом с рассказами, написанными по заказу редакторов юмористических журналов.

В это время Чехов получил письмо из Петербурга от Григоровича, — письмо, навсегда вошедшее в историю литературы:

«Бросьте срочную работу. Я не знаю ваших средств; если у вас их мало,

голодайте лучше, как мы в свое время голодали, поберегите ваши впечатления для труда обдуманного, обделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения...

На днях, говорили мне, выходит книга с вашими рассказами; если она будет под псевдонимом Чехонте, убедительно прошу вас телеграфировать издателю, чтобы он поставил на ней настоящее ваше имя».

Выбирая сюжет этого будущего своего труда, Чехов вспомнил поездки к дедушке в Княжую, заброшенную графскую усадьбу, рассказы Агафьюшки, хуторок Кравцовых, летние дни, проведенные в путешествиях по степи.

Он знал, что должен свою будущую повесть писать так, как будто пишет первую вещь.

Говорят, что написать одну книгу о самом себе способен всякий немного одаренный человек.

Возможно, что это верно. Но совсем не так легко, берясь за перо, пробиться к самому себе.

Когда Чехов думал об этом, он часто вспоминал своего брата Александра.

2

Антон начал печататься в 1880 году. Через три года, в 1883 году, уже не Александр покровительствовал Антону, а Антон хлопотал о том, чтобы пристроить в журналах вещи Агафопода Единичина.

Антон посылал рассказы Александра Лейкину, скрывая, что они написаны братом.

Лейкин прочитывал присланное «во имя рекомендации Чехова» — и чаще всего браковал.

Особенно огорчался Александр, когда в редакциях его рассказы находили подражанием Антону.

Когда в какой-нибудь редакции браковали рассказ Александра, он сперва страшно обижался, потом, немного успокоившись, посылал новый рассказ, заявляя, что шлет свою «лебединую песню».

Лебединые песни Александра тоже очень часто попадали в корзину.

Заработок, который еще несколько лет назад казался Александру хорошим, теперь, когда у него были жена и дети, превратился в совсем плохой.

Он завел себе большую конторскую тетрадь, которую озаглавил так:

«Мои ежедневные, подневные, почасные и вообще скоропреходящие мысли».

Записи Александра в первый момент можно было принять за отрывки из дневника полярного путешественника, вынужденного растянуть на возможно долгий срок расход последних остатков пищи. Впрочем, в дневнике Александра меньше всего было мужества, дневник его вызывал не чувство гордости за человека, а чувство томительной, раздражающей тоски.

Александр записывал:

«В понедельник 25 августа 1886 года получено из «Будильника» за статью «Старое старится, молодое растет» всего — 4 р. 75 коп. На эти деньги нужно прожить до следующего понедельника, то есть прокормить себя, Анну, прислугу Аннушку — и двух ребят: Кольку, Антошку в течение 7 дней. Поэтому я начинаю запись, чтобы посмотреть, что из этого выйдет и как мне утася».

Приход — 4 р. 75 к.»

Далее следовали более подробные перечисления всех самых мелких расходов:

«Обед состоял из воды с картофелем, забланной тремя яйцами, бифштекса и старой разжаренной гречневой каши. Водки выпито 2 рюмки. На завтра для супа мясо есть. Излишний расход — вобла».

Составляя эти расчеты, Александр считал себя человеком, униженным нищетой до последней степени.

Впрочем, иногда он с удивлением замечал, что эти расчеты доставляют ему какое-то странное удовольствие, почти счастливое ощущение человека, превращающего бедность в какой-то замысловатый опыт.

Это открытие немного огорчало его, так как он вспоминал, что Павлу Егорычу тоже очень нравилось составлять разного рода расписания, ведомости, балансы.

Значит есть в нем, в Александре,

это самое таганрогско-чиховское? Или Павлом Егорычем тоже руководила не расчетливость и слишком серьезное отношение к каждой копейке, а интерес к нелегкому житейскому опыту?

Некоторые литераторы находили своего приятеля Антошу Чехонте бережливым, не любящим тратить деньги зря. Возможно, что они не ошибались.

Антоша Чехонте должен был быть бережливым, даже расчетливым. Он взял на себя ответственность за всю семью, а значит, на деле отвечал за ее благополучие.

Но как трудно представить себе Антошу Чехонте, записывающего в свой дневник количество выпитых за обедом рюмок и отмечающего воблу в качестве излишнего расхода в семейном бюджете!

Сюда же, в этот дневник, Александр вписывал такие строки:

«Оставил только за собою право выпить в компании сколько влезет и натрескиваться раз в месяц. После долгого поста я выпил массу и не опьянел и вывел отсюда, что водка вовсе не необходимость».

«Бросив пить, впервые напился до легкого опьянения, но не пользуюсь им: пижит дочь, снисходительным молчанием доезжает жена».

«Живя в Москве в номерах с Анной и ее детьми, благодаря случаю оказался свободным на целый день. Уж и отпаздновал же я этот день!

...Отсутствие жены хоть на два часа составляет целое благодеяние».

Что мог сделать в искусстве человек, который, оставаясь наедине с собой, такими словами писал о жизни?

3

Чехов составил для «Осколков» литературную табель о рангах:

«Если всех живых русских литераторов, соответственно их талантам и заслугам, произнести в чины, то...»

Зрелый Чехов составил бы литературную табель иначе.

Конечно, он награждал бы Льва Толстого высшим чином. Загримировавший себя классиком Григорович не оказался бы выше Островского и

Лескова, Суворин, Буренин и Катков никогда не очутились бы впереди Короленко.

Если бы Чехову пришло в голову включить в эту табель самого себя, он, вероятно, поместил бы себя в ряду своих ближайших литературных друзей.

Друзьями же молодого Чехова были малоприметные коллежские асессоры и титулярные советники. Дружбы с прославленными писателями быть не могло: среди высших чинов литературной иерархии у Антоши Чехонте оказывались только покровители вроде Григоровича.

Это покровительство лишь подчеркивало низкий литературный чин Чехова — сотрудника юмористической печати.

Антоша Чехонте писал в окружении Альбова, Баранцевича, Боборыкина.

И еще в окружении литераторов, которых Чехов почему-то не упоминал в табели — возможно, не желая их обижать: Потапенко, Тихонова, Билибина, Жана Щеглова.

В годы первых своих серьезных дебютов Чехов хотел принадлежать к плеяде этих писателей, которым, несомненно, повезло в одном отношении: не сохранив ничего из написанного ими, литература сохранила их имена, — правда, в качестве нарицательных и, следовательно, превратив писателей в персонажей.

Очень трудно ответить на вопрос, насколько искренно ощущал себя молодой Чехов в одной компании с Потапенко и Щегловым.

Но во всяком случае те вполне искренно считали себя близкими Чехову.

Первая литературная известность, с которой познакомился Антоша Чехонте, был поэт Пальмин.

Придя в гости к Лиодору Иванчу, Чехов увидел четверть водки под столом.

Даже Лейкин, рыхлый, страшно привязанный к своему раз навсегда налаженному быту, находил жизнь Пальмина улиткообразной:

«Какие бы он хорошие вещи мог писать, если бы он не жил той улиткообразной жизнью по захолустьям,

какой он живет! И жизнь улиткообразная, да и ничего не читает, ничем не интересуется... Живет человек на Плющихе, знает 2 окрестные портные и даже в хорошие-то трактиры не заходит — вот и все».

Но этой улиткообразной жизнью жил не один Пальмин. Чем более расширялся круг литературных знакомств Чехова, тем яснее мог он убедиться в улиткообразности жизни русского литератора.

Одни, примирившись с этой улиткообразностью, навсегда теряли охоту жаловаться на погубленные мечты, другие вдруг хватались за голову, ужасались, плакали, потом с успокоенным сердцем погружались в свое будничное существование, с каждым разом все больше радуясь своей способности к легкой истерике и находя все больше гордости в своей приниженности. Они были убеждены, что их прозябание есть крест, который должны нести не без достоинства.

Билибин служил в главном управлении почт и телеграфов. Дружеские письма он писал на казенных бланках.

Баранцевич служил в правлении петербургской конно-железной дороги.

Агафопод Единицын служил на таможне, сперва в Таганроге, потом в Новороссийске.

Билибин писал Чехову, что невозможно целый день сидеть на службе, а потом, придя домой, сочинять юмористические рассказы.

Баранцевич называл свою службу адом.

Им казалось, что жизнь принуждает их служить, превращает их, свободных художников, в мелких чиновников. На самом же деле они служили потому, что непреодолимо боялись жизни.

Как бы обыкновенно ни складывалась их судьба, они чувствовали себя совсем замученными жизнью.

Нечуткая жена, болезненные дети, неинтересная служба, неудобная квартира — обо всем этом они говорили как о чем-то, роковым образом вторгнувшемся в их жизнь и отнимающем у них по частицам талант.

— Жизнь тенетами опутала меня, — трагически сетовал Баранцевич.

Письма, которые получал Чехов от своих знакомых литераторов, были письмами отчаяния.

«Ах, Антуан, Антуан, друг мой, как мне тяжело живется!» — писал Жан Щеглов.

«Боже мой, что же делать, куда деваться? — писал Баранцевич. — Искать спасения на дне Дарьяльского ущелья или водосточной трубы?»

Не проходит дня, в который я не думал бы о самоубийстве.

Свой собственный конец Баранцевич описывал так: «Желтый, брюхатый, вонючий труп тощие печальные клычи в дырявых пополах поволокнут на печальное петербургское кладбище».

Но он благополучно жил на Песках, получал гонорары за повести и жалование за службу в правлении конки...

И Жан Щеглов благополучно жил у Тучкова моста, писал водевили, мечтал написать целую серию юмористических рассказов о дачных мужиках...

Хоть частицу своего презрения к обывательской жизни перенесли бы они из дружеской переписки в свои повести, романы и пьесы!

Но удивительная вещь: чем трагичнее были возгласы отчаяния Баранцевичей и Щегловых, тем больше сытости было в их произведениях.

Склонность Баранцевичей и Щегловых к трагическому не имела никакого отношения к их творчеству.

Неталантливые люди способны в искусстве только на личное, но это личное никак не может составить ценности произведения. Талантливые люди избегают в творчестве всего личного, и все же это личное входит в их искусство самой важной ценностью.

На два Дарьяльского ущелья, а в водосточной трубе искали они спасения. Искали — и, видимо, находили.

Литературным друзьям Антоша Чехонте казалось, что он, совсем непохожий на замученного жизнью, необыкновенно удачливый, счастливый человек. Жан Щеглов называл Чехова «Потемкиным». Щеглову и в голову не приходило, что эта удачливость есть не что иное, как талантливость.

Когда же литературные друзья Че-

хова поняли природу его удачливости — тогда в отношении их к Чехову вкрались грустные ноты.

Друзья словно прощались с Чеховым и на прощание оправдывались.

Они вспоминали дни, когда вместе работали в разных журнальчиках, работали еще как равные, имея право на одинаковую веру в свое будущее...

Мысль о судьбе была последним утешением.

Однажды Билибин написал Чехову:

«Нам надо объясниться».

Во многих письмах Вы нападаете на меня за то, что я пишу не то, что следует, и не так, как следует. Тут, очевидно, недоразумение. Чего Вы от меня хотите и ожидаете?.. Не всем быть художниками слова.

...Я смотрю на литературное ремесло, как на хлеб. Не скрываю от себя, что через несколько лет мое душевное настроение под влиянием непрестанной срочной работы станет весьма критическим. Но что делать? Такова судьба...»

Это письмо Билибин написал на служебном бланке со штампом «Справка».

То была справка о многих друзьях Чехова.

В письме Билибина была такая фраза:

«У всякого есть мечты».

Написав эту строку, Билибин потом зачеркнул ее — не густо, так, чтобы ее все же можно было прочесть.

Очевидно, Билибин уж не вполне был уверен в том, есть ли у него свои мечты.

4

«Наш город поправился в архитектурном отношении; ждут тебя весной или летом наши прелестные мостовые и тротуары, по которым приятно проехать в пролетке или сделать маленький моцион по Петровской и другим улицам, где можно встретить зелень и прохожих в летнем платье, которые наслаждаются прелестным ароматическим запахом воздуха. Когда настанет весна и лето, я буду описывать все производившие на меня приятные впечатления».

Егорюшка Чехов в письме к Антону Чехову, 1887 г.

Подальше от писания в четырех оклеенных обоями стенах! Петербург-

ские литераторы отсиживают да-
рование.

О поездке по России Баранцевич
вдыхал как о чем-то совершенно не-
сбыточном.

От свежего воздуха у него делались
нервные припадки.

Чехов начал повесть о степи — и
это была повесть о родине, так, как
он ее видел и понимал еще в юности.

Среди работы Чехов поехал в Та-
ганрог, вновь увидеть места, о кото-
рых теперь писал.

С грустью ходил Чехов по знако-
мым улицам.

На двери дворцовой часовни, где
когда-то управлял Павел Егорыч сво-
им хором кузнецов, висел ржавый за-
мок. Сам же дворец отличался от со-
седних обывательских домов только
тем, что окна у него были без став-
ней.

Чехов пошел на Елисаветинскую —
посмотреть дом Селиванова.

Он был все такой же. Деревянное
крылечко без перил напоминало при-
ставную лестницу. Окна были под са-
мой крышей и все же приходились
прохожим по плечо. Странно, что
из-за этого домика семья пережила
столько тревог и душевной муки.

Чехов вспомнил, как мать послала
его к ростовщику, еврею Точиллов-
скому, поговорить, нельзя ли как-ни-
будь спасти дом от торгов.

Уже в те давние времена она в
сердце своем признавалась, что Анто-
ша, этот мальчик, гонящийся голубей и
смешно представляющий разные сце-
ны, превосходит ее пониманием жизни
и умением обходиться с людьми.

Антоша пошел к Точилловскому и
очень подробно, не сбиваясь, объяснил
положение дела.

— А на какой улице ваш дом? —
спросил ростовщик. — Это на том бо-
лоте? Нет, не надо...

Вот аллея, которая называлась «гим-
назической». Чехов вспомнил, как си-
дел он здесь на скамейке и с волне-
нием ждал, когда пройдет по аллее
Маня Дросси.

В его памяти до сих пор удержи-
лись глупые стихи, сочиненные кем-то
из гимназистов:

Передо мной проносится игриво
Оркестр и чудный сад,
С своею чудною косою
Маруся с шляпкою в руках.
И всяк воркует ей: — Маруся,
Я вас боюсь, я вас боюсь.

Как давно это было!

Возвращаться домой к дяде было
скучно. Разговоры, которые вела дядя
и тетка, были все те же, хорошо из-
вестные Чехову с детства.

Незнакомым в доме Митрофана
Егорыча был один только Егорушка.
Его Чехов запомнил мальчиком, а те-
перь он служил в пароходном агент-
стве, получал жалованье, говорил о
женщинах и курил. Приказчики в ма-
газинах говорили ему «вы» и называ-
ли молодым человеком.

Егорушка уходил на службу чуть ли
не на рассвете, возвращался домой
пособедать и потом снова отправлялся
на службу до самого вечера.

Свою службу Егорушка не находил
особенно тяжелой.

— Если у меня оставалось бы сво-
бодное время, папаша заставлял бы
меня сидеть в лавке, — объяснил он.

Чехов хорошо понял Егорушку.
Наблюдая Егорушку, Чехов думал о
судьбе, которая могла сложиться так,
что и ему самому пришлось бы в пять
часов утра спешить на службу, а ве-
чером вместе с таганрогской толпой
кружить по дорожкам Казенного са-
да...

От скуки Чехов перелистывал хра-
нившуюся у Митрофана Егорыча пере-
плетенную тетрадь — письма, полу-
ченные когда-то от Павла Егорыча.
Митрофан Егорыч их очень берег —
вероятно, на память о том годе, когда
он повидал в Харьков, и Калугу, и
Москву, и Петербург.

«Теперь у Вас новостей очень мно-
го, почти что на каждом шагу, а мы
сидим и глядим на однообразие...»

«После свадьбы Сафьянопуловой го-
лова болит и другие коммерческие
дела мешают с вами беседовать...»

«Меня на ярмарке бог покупателем
обрадовал...»

«Расходы идут своим степенством...»
«Передайте наше задушевное почте-
ние...»

«Прощайте, спешу за царицу молиться...»

И это все — давно знакомое!

Какую чудесную повесть можно написать о доме Митрофана Егорыча, о закрытых ставнях и жарко натопленных комнатах, о разговорах за чаем, возне крыс в чулане и невнятном бормотании няньки среди ночи...

Но скучная чужая жизнь возбуждает воображение только при первом

столкновении с ней. Достаточно хоть в малой степени почувствовать себя участником этой жизни, чтобы ее подробности уже не возбуждали, а закупоривали воображение.

С трудом дождался Чехов дня, когда можно было оставить этот дом, не слишком обижая его хозяев.

Чехов отправился в степные места. Начиналось путешествие в будущее.